

ДЖОРДИН ТЕЙЛОР

ДОСТАВКА

ПОЧТЫ

из ПАРИЖА



Джордин Тейлор

Доставка почты из Парижа

Серия «Дверь в прошлое»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68899815
Доставка почты из Парижа: АСТ; М.; 2023
ISBN 978-5-17-136022-1*

Аннотация

НАШИ ДНИ

Шестнадцатилетняя Элис проводит лето в Париже, но ей не до свежей выпечки и прогулок по Сене. Два месяца назад бабушка скончалась и оставила ей квартиру во Франции, о существовании которой никто не знал. Квартиру, которая была заперта больше семидесяти лет.

Элис полна решимости выяснить, почему это жилье было заброшено, а бабуля ни разу не упомянула семью, которую оставила после Второй мировой войны.

Очаровательный новый друг готов помочь Элис, но чем больше тайн они находят в прошлом, тем запутаннее оказывается настоящее...

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

Шестнадцатилетняя Адалин больше не узнает Париж. Повсюду нацисты, каждый день приносит новый ужас оккупационной жизни. Когда она встречает Люка, смелого и

загадочного лидера группы Сопротивления, Адалин чувствует, что у нее наконец-то появился шанс дать отпор. Но планировать подрыв нацистов, изображая из себя светскую даму, сложнее, чем она могла себе представить. Приходится вновь и вновь делать выбор – ради безопасности людей, которых она любит больше всего...

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	22
Глава 3	44
Глава 4	66
Глава 5	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Джордин Тейлор

Доставка почты из Парижа

Jordyn Taylor

THE PAPER GIRL OF PARIS

Copyright © 2020 by HarperCollins Publishers

© Шляпин Д., перевод на русский язык

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Глава 1

Элис

Родной язык в моей семье – это язык светской беседы. Узнала я об этом давным-давно, когда сама начала ходить к друзьям в гости. Едва оказавшись дома, нормальные люди, как правило, тут же соскальзывают в непринужденную болтовню, словно натягивая затертые тренировочные штаны, но в резиденции семьи Прюитт мы общаемся так, будто всегда одеты в лучшие выходные наряды. Это по-своему прекрасно, ведь мы никогда не воюем друг с другом, а такого уж точно большинство подростков не может сказать о своих родителях. Но это также может обернуться проблемой – особенно в данную минуту, когда мы сидим плечом к плечу, зажатые на заднем сиденье душного такси.

– Так что привело вас в Париж?

Водитель улыбается нам в зеркало заднего вида. Должно быть, думает, что в первый раз мы его не расслышали. Но мы отлично слышим его, ясно и четко. Я знаю это, потому что, когда он впервые задал этот вопрос, я заметила, как мы втроем напряглись.

Впрочем, учитывая обстоятельства, поездка в целом про-

текает неплохо. Мы с папой, как прилежные ученики, слушаем этого парня, пока он рассказывает историю знаменитой базилики Сакре-Кёр, занимающей самую высокую точку города и видимой даже отсюда. Дружно киваем в нужных местах, раздавая пустые обещания взглянуть на чудесный закат, когда выдастся свободная минутка. И все это время наши руки покоятся на маминых ногах, словно она ценный груз, с которым следует обращаться бережно.

Водитель по-прежнему выжидающе смотрит на нас. Может быть, он думает о том, почему воспитанная семья из далекого Нью-Джерси вдруг замолчала. Мы встали в пробку на бульваре Осман, где ремонтные ограждения вынудили машины выстроиться в один ряд. Светофор упорно не хочет переключаться, поэтому я устраиваюсь поудобнее, вглядываясь в пересечение трех возвышающихся над Парижем белых куполов. Водитель замечает, что во всем городе есть всего одна точка выше Сакре-Кёр, а именно вершина Эйфелевой башни. Я бы все отдала, чтобы прямо сейчас оказаться в любом из этих мест – да где угодно, только не здесь, объясняя незнакомцу, почему мы втроем застряли в Париже на все лето.

Отец кашляет.

– Семейные дела, – произносит он быстро.

Мама едва заметно ерзает на сиденье.

Свет наконец сменяется на зеленый, и мы в тишине катим дальше.

Свернув с залитого солнцем бульвара, мы принимаемся петлять по полутемным улицам, изгибающимся в самых неожиданных направлениях. Кажется абсурдным, что никто из нас понятия не имеет, куда мы едем, но опять же, бабуля обожала сюрпризы и имела склонность к драматичным эффектам. Она всегда была с причудами. Сунув руку в карман джинсовых шорт, я нащупываю там необычный медный ключ, гадая, о чем только думала моя бабушка перед смертью.

Машина подскакивает на кочках, и в такт ей гремят мысли в моей голове, как железные болты в стеклянной банке. Почему после всех этих лет у бабули осталась квартира в Париже? Она покинула Францию в конце Второй мировой, чтобы выйти замуж за дедушку, и обратно так и не вернулась. Она никогда даже не говорила об этом. За шестнадцать лет, которые мне довелось с ней провести, я ни разу не слышала, чтобы она упоминала о своем детстве. В ее квартире не было ни фотографий, ни сувениров – ничего. Только после ее смерти я осознала, насколько странным был этот зияющий пробел в ее биографии. Бабуля никогда не упускала случая рассказать, как сбегала с работы, чтобы присоединиться к маршам за гражданские права, или как однажды они с дедушкой курили травку на крыше своего дома, поэтому мне и в голову не приходило, что она будет что-то скрывать. Почему-то мой мозг принял за истину, что бабушкина жизнь началась, когда она ступила на американскую землю.

Мы едем по улице с односторонним движением, ютящейся между рядами одинаковых кремовых многоэтажек с белыми ставнями и крошечными французскими балконами. Под ними располагаются уличные ресторанчики и кофейни, заполненные людьми, наслаждающимися прекрасным субботним утром. На перекрестке я замечаю табличку *Rue de Marquis, 9e Arr.* Еще раньше таксист объяснил, что *arr* значит *arrondissement*, то есть «округ» – на них поделен Париж. Всего в городе двадцать таких округов, а квартира бабули находится в девятом. Мы на месте. Сердце как бешеное бьется у меня в груди. Если отец с мамой и заметили табличку, то ничего не сказали.

Таксист поворачивает. Мы оказываемся в широкой части изогнутой полумесяцем улочки, уходящей влево так резко, что непонятно, где она заканчивается. Магазинов здесь не наблюдается, лишь многоэтажные дома с выгнутыми, повторяющими форму улицы, фасадами. Они не одинаковые, как те, что мы только что миновали; один широкий, с черными ставнями, следом за ним идет узкий, вообще без ставен. Наконец водитель останавливается перед древнего вида зданием с желтеющим фасадом, втиснутым среди своих соседей, как криво выросший зуб.

– *Numéro trente-six*¹, – сообщает он.

Отец расплачивается евро, которые снял в банке, и мы

¹ Номер тридцать шесть (Здесь и далее – перевод с французского, если не указано иное).

втроем выбираемся на тротуар перед домом номер тридцать шесть. Оглядывая здание через круглые черепаховые очки, я замечаю, что оно выглядит самым ветхим во всем квартале. Штукатурка испещрена трещинами, краска на двойных изумрудного цвета дверях облупилась. Отец направляется к домофону рядом со входом, а я остаюсь на краю тротуара рядом с мамой. Обняв ее за плечи, чувствую, как остро они выпирают под ее мешковатым серым кардиганом, который она сегодня надела, несмотря на жару. Обычно она ходит в сарафане или еще в чем-нибудь, открывающем ее ноги, мускулистые благодаря регулярным подъемам на холмы позади нашего дома, но этого она тоже давно не делала.

– Мам, не все ведь можно знать наперед. Вдруг это весело.

Она лишь плотнее кутается в свой вязаный кардиган, не отрывая взгляда от неопределенной точки на здании. Трудно сказать, морщится она или улыбается.

– Посмотрим, Элис.

Бедная мама. Сначала она потеряла бабулю, что само по себе стало тяжелым ударом, но когда после этого мы прочли завещание, мама узнала о ней такое, о чем никогда и думать не могла. *Очень серьезные вещи.* Неудивительно, что последние пару месяцев мама была сама не своя, ей с трудом удавалось заставлять себя встать с кровати, одеться и пойти на работу. Отцу приходилось напоминать ей, что если она не будет этого делать, пятиклашки останутся без учителя английского. Я тоже делала все, что в моих силах, чтобы

развеселить ее, когда мы возвращались домой – каждая из своей школы: предлагала испечь вместе печенье или залипнуть на что-нибудь глупое на «Нетфликсе». Все что угодно, лишь бы отвлечь ее от мыслей о бабуле. Эффект оказывался минимальным, но я не сдавалась. Это было меньшее из того, что я могла сделать, учитывая, что квартира досталась мне.

– Заходим, – торжественно провозглашает отец, придерживая открытую дверь.

Холл выглядит таким же видавшим виды, как и дом снаружи, с облезлыми обоями, пыльной люстрой и кафельным полом, давным-давно простившимся со своим изначальным белым цветом. Здесь царит тишина, не считая едва слышных звуков шагов с верхних этажей. Мне чудится, что вот-вот из-за угла выскочит бабуля и закричит «Сюрприз!».

– Кто помнит, в какую квартиру нам нужно? – спрашивает отец. Такое воодушевление в голосе он обычно прибегает для самых перспективных покупателей недвижимости. Думаю, мы с ним каждый по-своему пытаемся приободрить маму.

– В пятую, – с готовностью отзываюсь я.

Деревянные ступени скрипят и стонут у нас под ногами. Мама не реагирует ни на одно из веселых папиных замечаний насчет балюстрад или карнизов, и я гадаю, не передумала ли она оставаться в Париже на следующие шесть недель.

Сама поездка была задумана, чтобы помочь нам развеяться после нескольких сложных месяцев.

– Вы двое свободны все лето, а Тодд почти заставил меня взять длинный отпуск, когда мы разобрались с домом на Уиллоу-стрит, – сказал как-то отец за ужином. (Это было после того, как мы прочли завещание.) – Мы можем все вместе съездить, взглянуть на квартиру, и пока я буду улаживать дела с бабулиной недвижимостью, вы, девчонки, посмотрите город. Что скажете?

Мое сердце бьется тем сильнее, чем выше мы поднимаемся, пока я не начинаю верить, что все слышат эхо его ударов, отражающееся от стен. Я все еще пребываю в шоке, что бабуля оставила квартиру мне, а не маме. Хотя мы были очень близки, это правда, и я видела ее чаще, чем мама, потому что ее квартира находилась рядом со школой; я могла видеть ее из окон лаборатории на третьем этаже. Я всегда заходила к ней на обратном пути домой; она встречала меня с чашкой кофе и банановым хлебом, и мы болтали обо всем, что взбредет в голову, начиная с моей несуществующей личной жизни и заканчивая последней драмой, развернувшейся в ее бридж-клубе. И, конечно, в тот долгий период в первом классе, когда мама постоянно ходила по врачам, бабуля забирала меня из школы и кормила ужином по вечерам. У нас с самого начала установилась особенная связь.

Помню один холодный дождливый день в феврале, когда я сидела за обеденным столом и водила пальцем по кромке кофейной чашки в горошек, которую она всегда оставляла для меня.

– Бабуль, – спросила я мрачно, – как думаешь, если никто до сих пор не пригласил меня на весенний бал, это что-то значит?

Бабуля приподняла тонкую седую бровь.

– А это что-то значит?

– Ага.

Она хмыкнула.

– Думаю, это значит, что ты еще никого не спрашивала.

Когда мы наконец добираемся до двери с ржавой цифрой «пять», у меня успевают вспотеть вся шея и лоб. Кондиционера в здании не наблюдается, а на дворе стоит конец июня. Следом поднимается папа, после него мама. Мы на мгновение задерживаемся перед дверью, чтобы перевести дыхание.

– Не хочешь сама это сделать? – предлагаю я маме. Мне хочется, чтобы она почувствовала, что квартира принадлежит нам обеим.

– Нет, спасибо, – отвечает она. – Давай ты.

Дрожащими пальцами я выуживаю из кармана ключ. Он с успокаивающим щелчком входит в замочную скважину, и я мягко толкаю дверь.

Мое первое впечатление от квартиры оказывается словно от старой книги: в ней пахнет плесенью, затхлостью, но при этом очень приветливо, как будто книга счастлива, что кто-то, хрустнув корешком, открыл ее впервые за много лет. Мы стоим на пороге прихожей с высокими потолками и покрытыми панелями стенами, но здесь слишком темно, чтобы

разглядеть дальние комнаты.

– Э-эй!

Я не знаю, зачем сказала это. Понятно, что здесь никого нет и не было уже очень давно. Когда захожу в комнату, пол мягко проседает под ногами, и, глянув вниз, я вижу толстый слой пыли, стелющийся под моими купленными на деньги от занятий репетиторством конверсами. Пыль видна повсюду: на деревянной скамье рядом с дверью, на вешалке в углу, боюсь, даже в спертom воздухе, который я вдыхаю.

Мама начинает кашлять, прикрывая рот рукавом кардигана.

– Думаю, мне лучше подождать снаружи.

– Ты не хочешь стать первооткрывателем? – Я выразительным жестом указываю в сторону обступающих нас теней.

– Мы, пожалуй, и правда постоим пока тут, а ты осматривайся, – соглашается папа, взяв маму под руку. Она несколько не возражает, поэтому единственное, что мне остается, это углубиться в темноту.

– Не пойму, где здесь... Ай!

На ощупь пробираясь под аркой, я ударяюсь коленом обо что-то твердое. Стол. Осторожно обхожу его, пока тонкая полоска света не подсказывает, что я подошла к окну. Занавески плотно задернуты, но я без особых усилий распахиваю их, и яркое летнее солнце заливает комнату, словно мощный прилив. Я слышу, как папа охает, но не притворно-вос-

хищенно, как принято у риелторов. Я поворачиваюсь, и челюсть у меня отвисает.

– Господи...

Иначе и не скажешь: мы вернулись назад во времени и стоим посреди роскошно обставленной квартиры, в которой никого не было бог знает сколько лет. Сейчас я нахожусь в столовой и смотрю на элегантный длинный деревянный стол. Справа от меня стоит буфет с серебряными подсвечниками и сервировочной посудой наверху. На стенах по всей длине висят большие картины в позолоченных рамах. Все это место напоминает мне декорации для фильма, не считая, что все настоящее и наверняка стоило в свое время кучу денег, что заставляет меня задуматься, как бабуля вообще смогла позволить себе жить здесь. Она всегда говорила, что, уезжая в Штаты с дедушкой, осталась без гроша в кармане, и им двоим едва хватало на полноценный обед раз в день.

У двери папа убеждает маму войти. Сделав первый шаг, она, оступившись, упала бы, если бы папа вовремя не подхватил ее.

– Ты только взгляни на столовую, Диана!

– Вижу, Марк, вижу.

– Не все так плохо, как считаешь?

– Говори за себя.

Хотела бы я сказать ей что-то подбадривающее, но в голову ничего не приходит, поэтому просто открываю двойные двери и вхожу в еще одну темную комнату. Следуя за второй

полоской света, льющегося сквозь шторы, я раздвигаю их и вижу очаровательную гостиную. Здесь обнаруживается еще больше дорогих произведений искусства, справа стоит деревянное пианино, сейчас, должно быть, совсем расстроенное. Я обхожу комнату, любясь массивным камином с зеркалом на полке, тыкаю пальцем в одно из мягких кресел, стоящих у окна, и в воздух взмывает целое облако пыли. Квартира явно рада меня видеть.

Стараясь не беспокоить слой пыли, лежащий на всех поверхностях, я на цыпочках бегаю из комнаты в комнату, мечтая, чтобы мои глаза могли смотреть в десяти направлениях сразу. Родители за все это время дальше прихожей не продвинулись. Я успеваю изучить кухню и маленькую квадратную комнатку со столом и книжными полками от пола до потолка. В коридоре, отходящем в другую сторону от прихожей, я открываю дверь кладовой, обнаруживая жутковатую картину: несколько свисающих с вешалок пальто, выстроившихся друг за другом словно призраки. Я чувствую покалывание в затылке. Квартира больше не кажется складом старой мебели, теперь в ней ощущается нечто человеческое. Что заставило семью, жившую здесь, уехать и бросить ее? И действительно ли это была семья бабули?

– Элис, смотри, что я нашел! – доносится из прихожей голос папы.

Они все еще стоят рядом со столом у стены. На нем выстроились фотографии в рамке, папа почти закончил проти-

рать их от пыли нижним краем футболки. Мама рассматривает те, что он уже отчистил. Лицо ее походило бы на каменную маску, если бы не подрагивающий на челюсти мускул.

– В-вы нашли что-то интересное?

– Пока непонятно, – отвечает мама.

Все фотографии черно-белые. На самой дальней слева – молодая девушка, сидящая на дощатом настиле. Она сжимает рукой краешек стоящей рядом скамейки, слегка развернувшись к камере, словно хочет, чтобы вы знали: она охотнее сейчас валялась бы на песке, а не позировала, одетая в платье. Блестящие светлые волосы, веснушки на носу – она выглядит невероятно знакомо.

– Мам, это ты?

Но такого быть не может. Фотография сделана задолго до ее рождения. На заднем фоне виднеются мужчины в купальных костюмах с высокой талией и женщины в цельных купальниках, больше напоминающих платья. Господи, да они все с зонтиками. А это значит, что...

– Это бабуля, – поясняет папа.

Вдруг горло у меня сжимается, а на глаза наворачиваются слезы, затуманивая очки. Я быстро протираю их, не желая, чтобы мама видела меня такой. Я хочу держаться ради нее, но в то же время сильно скучаю по бабуле. Я скучаю по кофе из той чашки в горошек и банановому хлебу. Скучаю по тем моментам, когда мы смеялись над Этель из бридж-клуба, всегда засыпавшей в самый разгар игры. Я скучаю по тому,

как показывала бабуле в «Инстаграме»² новые объекты своей влюбленности и просила оценить их без всякой жалости. Но больше всего я скучаю по члену семьи, которому могла открыться и рассказать все. Мы хорошо ладим с родителями, болтаем и смеемся, но о своих *чувствах* я никогда с ними не разговариваю. Они всегда остаются слишком закрытыми – и мне нужна бабуля. Я с трудом сглатываю, чувствуя вину, как и всякий раз, когда у меня рождаются подобные мысли, потому что знаю, как страдает мама. Я очень люблю ее, как и папу. Когда снова надеваю очки, от слез не остается и следа.

Я возвращаюсь к фотографиям. Все они изображают бабулю в детстве. Вот она сидит, скрестив ноги, на траве рядом с пледом для пикника, а вот в гольфах и форменной блузке позирует перед школой.

– Так ты думаешь, эта квартира...

Следующее фото отвечает на мой вопрос. Это снова бабуля, сидящая за тем самым деревянным столом в соседней комнате. Я узнаю картины на стене позади нее. Бабуля жила здесь. Здесь прошло ее детство – ее очень *обеспеченное* детство. Не знаю, что еще я ожидала здесь увидеть, но правда оказывается настолько неожиданной, что никак не укладывается у меня в голове. Может быть, семья покинула квартиру, убегая от войны? Но если так, почему они не вернулись? Что с ними случилось?

² Компания Meta Platforms Inc. и ее соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории РФ.

Я размышляю над всем этим, как вдруг замечаю девушку на фото с пикника, она лежит на животе и листает книгу. На фотографии перед школой она стоит рядом с бабулей и одета точно так же. Она не кажется мне знакомой, но ее темные глаза и кудри точь-в-точь как мои, разве что она красивее – объективный факт. Она выглядит как кинозвезда. А я, скорее, как школьная зубрила, которая *может* показаться миленькой, если прищуриться и наклонить голову влево.

– Мам, – осторожно спрашиваю я, – бабуля никогда не говорила, что у нее была сестра?

– Нет, – отвечает мама. – Как видишь, она вообще многого мне не говорила.

Но девушки на фото точно должны быть сестрами. Дальше среди фотографий обнаруживается профессиональный портрет бабули и ее сестры, за ними стоит взрослая пара – скорее всего, их родители. Женщина выглядит безупречно, в бриллиантовых серьгах и ожерелье с крупным драгоценным камнем, лежащим у основания шеи. Мужчина кажется грубоватым: костюм не по размеру сидит мешком на его худощавой фигуре, а еще, к моему удивлению, я замечаю, что на левой руке у него не хватает трех пальцев.

Папа сжимает мамино плечо.

– Ты когда-нибудь видела фотографии своих деда и бабушки?

– Нет, – резко отвечает мама, освобождаясь от его руки. – Я знаю, что они умерли до моего рождения, и больше ничего.

У меня рождается идея. Найдя отверстие вверху рамки, я вынимаю фото и переворачиваю его. Ну конечно, на обороте обнаруживается надпись: «Мама, папа, Хлоя и Адалин. 1938». Хлоей звали бабулю, а это значит, что ее сестрой должна быть... Адалин.

Я никогда не слышала этого имени раньше. В моем классе в школе пять Эмили, четыре Ханны, три Эшли и три Саманты, но никого по имени Адалин. Мне нравится это имя – больше, чем Элис, которое звучит слишком робко и тревожно. Есть в этой темноволосой девушке то, что не позволяет отвести от нее глаз, и дело не только в том, что она кажется красивее всех, кого я когда-либо видела. В глазах у нее застыло странное выражение, будто она внимательно изучает человека, снимающего ее.

– Ее звали Адалин, – говорю я маме, протягивая фотографию.

Она, бегло взглянув, сует фото обратно в рамку. Папа приглаживает ладонью остатки редющей шевелюры. Он делает так всегда, когда не может понять, как поступить, и придумывает, что сказать дальше.

– Может, сходим перекусим? – предлагает он. – Как считаешь, Диана?

– Я только за.

Сердце падает. Мне не хочется уходить. Хочется продолжать исследования – в конце концов, я еще не видела ни одной из спален. Но в то же время знаю, что папа прав. На ма-

му и так слишком много всего навалилось, и сейчас лучше здесь не задерживаться. Я не хочу показаться эгоистичной. Последний раз скользнув взглядом по квартире, даю бабуле безмолвное обещание, что вернусь сюда так скоро, как только смогу. И лучше в следующий раз прийти одной, чтобы остаться подольше.

Я выхожу вслед за родителями на лестничную клетку и закрываю за нами дверь. Занавески я оставляю открытыми, чтобы в квартиру лилось солнце.

Глава 2

Элис

Солнечные лучи пробиваются через окно над моей кроватью в съемной квартире. Восемь утра, но я уже не сплю, взволнованная предвкушением встречи.

В течение трех долгих дней мы с родителями гуляли по музеям и осматривали достопримечательности. Мы видели Лувр, музей Орсе и Эйфелеву башню... и никто за все это время ни слова не сказал про бабулю и ее квартиру. Мы с папой придерживаемся стиля общения Прюиттов даже больше, чем обычно, комментируя *великолепную* живопись и *впечатляющую* архитектуру, отчаянно надеясь, что мама не слишком несчастна. Наконец вечером третьего дня мы получаем электронное письмо из клининговой службы – они убрали всю пыль и мусор, и мы можем вернуться в любое время. Парень из службы сказал, что никогда не видел ничего похожего на бабулину квартиру – *un capsule temporelle*, как он выразился.

«Капсула времени».

Я прижимаюсь ухом к тонкой стене между своей комнатой и родительской. Должно быть, они еще спят. Быстро чи-

щу зубы, натягиваю шорты, футболку и конверсы; из обуви я взяла с собой только эту пару, потому что ношу их с любой одеждой. Выскользнув за дверь, я отправляю сообщение родителям, чтобы они не волновались, когда проснутся. Учитывая обстоятельства, не стоило попадаться маме на глаза этим утром. В смысле, разумеется, она сказала бы, что я могу вернуться в квартиру, когда захочу, добавив, что сама к этому не слишком стремится, но трудно понять, что она думает на самом деле. Так получается проще.

Отчасти я чувствую себя виноватой, покидая ее этим утром, но ведь у мамы есть папа, который составит ей компанию. Семьдесят два часа спустя квартира на рю де Маркиз, 36, вновь манит меня к себе. Пока я иду пешком по рю де Ришелье, мир вокруг кажется необычайно ярким, будто солнце выкрутили на полную мощность. Проходя мимо небольшого парка, я замечаю фонтан высотой не меньше пятнадцати футов, струи воды из него изящными арками взмывают в воздух. Я до сих пор обожаю за это Париж – куда бы вы ни повернули, всегда наткнетесь на что-то потрясающее посреди невзрачного городского квартала. Наша снятая через «Эйр-биэнби»³ тесная квартирка с двумя спальнями находится над сервисом по ремонту сотовых телефонов, а через дорогу стоит роскошная церковь семнадцатого века. Париж полон таких сюрпризов.

³ Airbnb (англ.) – онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. – (Прим. ред.)

Сначала я останавливаюсь у кофейни по пути, такой крохотной и наполненной запахами, что можно получить дозу кофеина, просто как следует подышав внутри. Смело шагнув к прилавку, заказываю на хромающем французском черный кофе:

– *Un cafe noir, s'il vous plait.*⁴

Я беру кофе с собой, не ожидая, что он окажется настолько горьким. Когда мы с Ханной и Камиллой идем в «Старбакс», они всегда заказывают тыквенный латте и мокка фраппучино со взбитыми сливками сверху. Я признаю, что на вкус они неплохи – ну ладно, потрясающе – но бабуля научила меня ценить кофе без претензий.

Когда бариста вручает мне заказ, я понимаю, что ожидала точно не этого. Стакан оказывается всего три дюйма высотой, меньше детского, а сам напиток походит на густой ил – темно-коричневый, матовый и его там совсем чуть-чуть.

Сделав первый глоток, я понимаю, почему. Кофе оказывается крепчайшим. Самым крепким, что я пила когда-либо. На вкус он как смачная пощечина. Может, они так подшучивают над американцами? Могла она различить мой акцент? Но, оглядевшись по сторонам, я вижу, что остальные, не испытывая никаких проблем, пьют такой же кофе. Как они это делают? Я слишком растеряна, чтобы попросить еще что-нибудь, поэтому беру кофе с собой, надеясь, что привыкну к нему так же, как когда-то долго привыкала к кинзе. Каждые

⁴ Один черный кофе, пожалуйста.

три квартала я делаю глоток, но кофе каким-то образом становится только крепче. Дойдя до рю де Маркиз, я заставляю себя допить его, после чего торжественно выбрасываю стакан в мусорку.

Поднявшись по лестнице до квартиры номер пять, я поворачиваю ключ в замке и толкаю дверь. Надо же, клининговая служба проделала потрясающую работу. Сейчас я вижу детали, которые раньше скрывались под толстым одеялом пыли: изящные резные ножки обеденного стола и стульев в виде когтистых лап, узоры восточных ковров в гостиной, улыбающиеся лица бабули и Адалин на фотографиях рядом с дверью. Словно на всю квартиру внезапно навели резкость.

Мне все еще не верится, что бабуля оставила ее мне.

Я, конечно, могу долго ходить здесь, разглядывая каждый предмет мебели, но то, чего действительно хочу, это узнать больше о бабуле и ее семье. Я постоянно думаю об этом с тех пор, как мы прочли завещание, закрывая глаза и вспоминая сценки из прошлого, и сейчас уверена, что бабуля специально многое скрывала. Помню пару моментов, когда ее прошлое *почти* всплывало в разговоре, но она меняла тему, прежде чем я успевала понять, что она это сделала.

Возьмем прошлый март, когда я спросила ее, не взглянет ли она на мою домашнюю работу по европейской истории: подробную карту немецкого вторжения во время Второй мировой войны. Я подумала, что ей это может быть интересно, потому что все происходило на ее глазах, но бабуля, посмот-

рев на страницу пару секунд, отложила ее в сторону и спросила: «Ты делаешь это задание вместе с тем мальчиком? Он понял наконец, как нужно целоваться?».

Да, я делала это задание с *тем мальчиком*. После всех моих волнений по поводу того, что никто меня не пригласил, Нейтан Поморски в конце концов это сделал. Он поцеловал меня в середине медленного танца – точнее, присосался губами к нижней части моего лица, так что в итоге весь мой рот оказался внутри его. Это было ужасно.

– Понятия не имею, – ответила я тогда бабуле. – Я уже написала ему, что не хочу встречаться, но не думаю, что он получил сообщение, потому как продолжает регулярно заглядывать в раздевалку поздороваться.

Бабуля с грохотом опустила кофейную кружку на стол.

– Так скажи ему, что он целуется как пылесос!

В этот момент мы обе уже хохотали, и домашняя работа по истории была благополучно забыта.

В первый день я не видела спален, поэтому прежде всего отправляюсь туда. Найти их нетрудно. Дальше по коридору, где я заглядывала в кладовку с пальто, я вижу две двери с надписями. На одной значится «Хлоя», на другой – «Адалин».

Естественно, я сразу иду в комнату бабули.

Комнату бабули — как странно звучит. Я все еще не могу привыкнуть к тому, что она жила здесь, что ее рука поворачивала ту же расшатанную медную дверную ручку. Мое

сердце бешено бьется при мысли, что внутри я найду то, что расскажет мне о ее прошлом.

О господи! Комната выглядит так, будто по ней пронесся ураган. Дверь ванной распахнута, одежда в беспорядке разбросана на кровати. На полу валяются обувь и раскрытые книги. Я не могу представить, как все это выглядело *до* того, как здесь убрались. Так бабуля собиралась в Америку?

Мое внимание привлекают два маленьких предмета на туалетном столике, и все вопросы, которыми я задавалась, тут же растворяются, когда мое горло сжимается, как и в первый день.

Слезы текут сразу, будто невидимая рука сжимает шею, выдавливая на поверхность все чувства. Перед мамой я быстро смахнула их, но на этот раз позволяю им – горячим, мокрым, соленым – свободно течь по щекам. Это настоящая буря эмоций. Я понимаю, что сломалась... и тут же мне становится стыдно. Обычно я не позволяю себе плакать перед кем-то, включая себя. Растрогали меня лежащие на туалетном столике игла и нитка, признак того, что бабуля, *моя бабуля*, когда-то жила и дышала в этой комнате, в чужой и далекой стране. В Америке она сначала работала швеей, прежде чем получить степень и стать учителем. Хотя ей всегда нравилось шить, и когда я была маленькой, она даже шила одежду для моих мягких игрушек. Я беру иголку, кручу ее в пальцах и вдруг чувствую себя почти как дома, словно кто-то набросил мне на плечи теплый плед.

Собравшись, я возвращаюсь к осмотру. Сверху на куче одежды лежит фиолетовое платье, которое бабуля, очевидно, не захотела взять с собой. Странно, на груди у него желтая звезда, как будто пришитая позже, с надписью «зазу» в середине. Я знаю, что нацисты заставляли евреев носить на своей одежде такие, но ведь бабуля была христианкой.

Я еще немного копаюсь в разбросанных вещах, трогая ткань и желая, чтобы здесь оказалась бабуля и все мне объяснила. Почему это место стало тайной и почему она оставила его мне? Мне, а не маме? Она хотела, чтобы именно я здесь что-то нашла? В поисках подсказок я подхожу к ящикам, находя внутри несколько завалывшихся чулок. Черт. *Бабуль, подай мне знак!* Чувствуя себя полной дурой, я оглядываюсь через плечо, ожидая, что нечто неожиданное вдруг появится позади, но нет, в комнате ничего не изменилось.

Если здесь в основном обнаружались оставленные бабулей старые платья, то, может, мне стоит поискать в соседней комнате – той, что принадлежала Адалин, загадочной сестре моей бабули, о которой я никогда не слышала. Я бегу в коридор.

Дверь комнаты Адалин открывается с долгим низким скрипом.

Первое, что я вижу в пестром, льющемся со двора солнечном свете, это шикарная кровать с балдахином на резных деревянных столбиках. В первом классе я без конца умоляла родителей купить мне такую, но потом у мамы началась эта

ее темная фаза, и я быстро научилась контролировать свое поведение. Думаю, к началу второго класса я уже забыла о ней и не вспоминала до сих пор.

Я оглядываю помещение, думая, где поискать в первую очередь. Если бы кто-то вошел в мою комнату дома, где бы он стал искать личные вещи? Конечно, в ящике стола. По крайней мере, именно там я храню свои дурацкие стихи, за которые мне жутко стыдно и которые *никто никогда* не увидит. Там же лежит адрес летнего лагеря Нейтана в Канаде; он просил писать ему письма, потому что с телефонной связью там проблемы, но я пока с этим не тороплюсь.

Я спешу к письменному столу Адалин, стоящему у окна, но, положив пальцы на ручку ящика, останавливаюсь, чувствуя себя детективом, который копается в чужих вещах. Если бы мама открыла мой ящик и увидела стихи, написанные несколько лет назад, когда она пребывала в одной из своих фаз, не сомневаюсь, она убила бы меня на месте. Пусть так, но Адалин не живет здесь уже долгие годы, даже десятилетия. Где бы она ни находилась, я сомневаюсь, что все эти вещи сейчас представляют для нее хоть какую-то ценность.

Любопытство побеждает, и я тяну ручку на себя.

Внутри оказываются карандаши, несколько заколок-невидимок, пара монет и кое-какие канцелярские принадлежности. А еще здесь лежит записная книжка в черной кожаной обложке. Я открываю ее на первой странице и сразу вижу написанные от руки строки. В верхнем правом углу стоит дата

– 30 мая 1940 года.

На секунду сердце замирает.

Я только что нашла дневник Адалин.

Я знаю, что окончательно превращаюсь в дешевого детектива, но не могу противостоять желанию немедленно прочесть его. Спальной родителей займемся позже. Прямо сейчас мне нужен «Гугл Переводчик».

Я проверяю остальные ящики на случай, если что-то пропустила, кроме одного, который не поддается, так что я не могу его выдвинуть. Потом я бегу в нашу съемную квартиру, бросаю в рюкзак ноутбук и иду искать кафе с вайфаем. То, что я задумала, можно сделать и из дома, но нельзя допустить, чтобы мама, случайно зайдя ко мне, опять все испортила. К счастью, тихий уголок в кафе находится быстро – стоит роскошный летний день, и все посетители просят столик на улице. Подключившись к интернету, я прижимаю дневник локтем и набираю в переводчике первое предложение.

– Закажите что-нибудь, *mademoiselle*? – слышу я рядом голос официанта.

– Ох... хм. – Я, прищурившись, вглядываюсь в доску на стене. – *Un pain au chocolat, s'il vous plait.*⁵

– А из напитков?

Ага – но на этот раз я не допущу утренней ошибки и делаю заказ на английском.

⁵ Одну шоколадную булочку, пожалуйста.

– Чашку черного кофе, пожалуйста.

– *Un cafe?*

– Да.

Я возвращаюсь к дневнику. Дело движется медленно: иногда трудно различить отдельные буквы, и мой французский не идеален, поэтому я гадаю, какое это может быть слово. В конце концов я открываю второе окошко «Переводчика», куда ввожу все возможные варианты, пока не появляется подходящий. Очки продолжают сползать по носу тем ниже, чем сильнее я склоняюсь над страницей.

Официант возвращается с заказом. Слоеная булочка на тарелке выглядит просто божественно, и... только не это. Точно такой же маленький стаканчик кофе. Ну почему это случилось опять?

– *Un pain au chocolat et un cafe, mademoiselle.*⁶

Когда-нибудь я с этим разберусь, но сейчас благодарю официанта и возвращаюсь к работе. Всякий раз, справившись с особенно трудным участком, награждаю себя шоколадной булочкой. Она буквально тает во рту.

Наконец я расшифровываю первую запись в дневнике. Кручу шей, разминая ее, и вытягиваю запястья. Сделав крошечный глоток кофе – господи, какой же он крепкий! – я читаю то, что получилось.

Я никогда раньше не вела дневник.

⁶ Шоколадная булочка и кофе для мадемуазель.

Да и этот начала вести только потому, что чувствовала: это единственный способ уложить в голове все произошедшее за последние несколько недель. Если я не запишу этого, то не смогу поверить, что некоторые вещи видела своими глазами.

Я нашла эту пустую записную книжку, когда искала бинты, чтобы перевязать ногу. Дядя Жерар говорит, что я заслужила право оставить ее себе после всего того, через что прошла. Поэтому сейчас я пишу эти строки на чердаке фермерского дома дяди Жерара – если точнее, на матрасе, который мы делим с Хлоей. Кто знает, как долго это продлится? Моя сестра жалуется, что спать здесь невозможно (как она жалуется почти на все на свете), но я считаю этот унылый тесный чердак единственным местом, где могу слышать свои мысли. В доме полно людей – Матан, Рара, дядя Жерар, четверо его друзей, тоже бежавших из Парижа, – и их общую нервозность слишком тяжело выносить.

С чего начать эту печальную историю? В мае немцы вторглись во Францию. Помню, как в школе нам говорили не волноваться, ведь немцы никогда не преодолеют линию Мажино⁷, но они ошиблись.

Дальше все случилось очень быстро. Рара сказал, что мы уходим из Парижа на ферму дяди Жерара в Жонзаке. Мы должны были как можно быстрее загрузить в машину все

⁷ Линия Мажино – система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Была построена в 1934–1935 годах. – (Прим. ред.)

необходимое. Матап взяла с собой три платья, два пальто, чемоданчик с драгоценностями и сказала нам с Хлоей сделать то же самое. Она покинула нашу квартиру в паре своих самых дорогих туфель на высоких каблуках, потому что не хотела оставлять их. Интересно, что с ними стало.

Побег был затеян ради нашей безопасности, но в самой дороге из Парижа не было ничего безопасного. Поток грязных, уставших людей тянулся вдаль, сколько хватало глаз. Некоторые семьи везли свои вещи на расшатанных тележках. У других не было ничего, кроме груды тряпья, которое они тащили на спине. Рара вел машину так долго, как это было возможно, осторожно двигаясь в толпе. В конце концов недалеко от Орлеана у нас кончился бензин. Поскольку достать его было нигде, нам пришлось бросить наш любимый «Ситроен», словно труп на обочине дороги, с частью вещей внутри и продолжить путь пешком.

Мы шли так три дня. Ноги ныли и кровоточили. Даже с деньгами, которые Рара снял в банке, мы не могли найти комнату, поэтому спали – пытались спать – в траве у дороги. Питались сыром, хлебом и сосисками, которые, к счастью, додумались взять с собой.

На дороге иногда происходило такое, о чем я не забуду до конца своих дней. Толпа была словно живой. Она могла поглотить тебя. Здесь были дети, кричащие от страха, потому что оторвались от родителей. Как они найдут отца и мать потом, ведь они слишком малы, чтобы знать, ку-

да идут? Были старики, неподвижно лежащие на земле без сил, которые не могли идти дальше. Кто-то из них был еще жив. Кто-то нет. Я так хотела остановиться и помочь им, но Матап и Рара продолжали идти вперед, и я не могла отстать от них. Вся еда находилась у меня.

Хуже всего стало, когда появились бомбардировщики. Мы шли усталые, грязные, голодные и вдруг слышали низкий гул, становившийся громче с каждой секундой. Посмотрев вверх, мы увидели немецкие самолеты, летящие к участку дороги впереди нас. Их было три. Сначала я подумала, что они направляются в другое место, но они снизились с жутким визжащим звуком и начали стрелять в людей на земле. Невинных людей, у которых не было ничего – которые шли целыми днями. Потом они исчезли.

Визг самолетов вызвал у Рара приступ страшных воспоминаний. Он весь дрожал, ему стало трудно дышать, поэтому мы остановились и какое-то время его успокаивали. Мой бедный, дорогой Рара. Прежде он обожал фейерверки.

В конце концов мы продолжили идти, но он все равно дрожал. Когда мы приблизились к тому месту, над которым кружили самолеты, я была вынуждена сбегать с дороги в траву, потому что меня чуть не стошнило. Здесь лежали тела, внутренности которых торчали наружу. Взрослые кричали, словно обезумевшие животные. Подробности я не буду описывать, иначе меня опять начнет тошнить. Я презираю эту войну, и я презираю немцев.

Мне приходится прерваться на секунду, чтобы снова научиться дышать. Я никогда не слышала о массовом исходе из Парижа, но отвратительнее этого мне ничего читать не приходилось. Так, значит, они бросили эту квартиру, уходя на ферму к дяде Жерару? Но... это не так, потому что дневник Адалин в итоге снова оказался в ее спальне. Семья – или как минимум Адалин – должна была вернуться в Париж.

Я переворачиваю страницу. Следующие две записи короче первой, и на этот раз почерк выглядит еще более неряшливо, как будто Адалин куда-то спешила. Я должна узнать, что случилось дальше. Утвердив очки на переносице, я начинаю печатать.

14 июня 1940

Сегодня Париж сдался немцам. Люди, бомбившие невинных беженцев, маршируют по Елисейским Полям. Я не знаю, что происходит. Рара в эти дни почти все время молчит. Я подозреваю, что его преследуют воспоминания о Великой Войне. Он потерял два пальца в битве при Пашендейле, но хуже того, там он лишился своего младшего брата Маттье. Жерар говорит, что скоро Франции станет еще хуже, Матап, наоборот, надеется на лучшее. Хлоя очень напугана. Она боится, что когда мы вернемся, нашего дома больше не будет. Я тоже боюсь, но стараюсь этого не показывать. Я люблю наш дом. Я люблю наш прекрасный город.

Мне нужно идти – Хлоя ворочается во сне и просит, чтобы я легла рядом с ней.

17 июня 1940

Все кончено, Франция капитулировала перед нацистской Германией. Сегодня вечером по радио выступил маршал Петен (сейчас он руководит правительством). Он сказал, что его долг – избавить Францию от страданий. И заявил, что пора прекратить борьбу.

Матап вздохнула с облегчением. Она верит Старому Маршалу. Большие никто не умрет на этой войне, говорит она. Я пытаюсь понять ее, но не могу. Мир будто раскололся. Как мог Петен заключить перемирие с немцами? Почему мы не защищаемся от этих сил зла?

Когда передача закончилась, мы с Хлоей помогли друг другу подняться наверх, в нашу комнату. Мы легли рядом и долго плакали, пока наконец не уснули.

Прочтя все это, я чувствую стыд из-за того, что жаловалась бабуле, что нам задают слишком много на дом – когда она в моем возрасте через такое прошла! Все, чего я хочу сейчас, это дотянуться до нее через страницы дневника и успокоить. Я хочу сказать ей, что в итоге все будет хорошо. Она встретит дедушку, у них родится мама, а у нее – я. Но затем я возвращаюсь к тем же вопросам, с которых все началось: что случилось с семьей бабули? Что случилось с Ада-

лин? Понятно, что они были близки настолько, насколько это вообще возможно для сестер. Что же изменилось? Что могло заставить бабулю прожить остаток своей жизни, ни разу не упомянув Адалин в разговорах с семьей?

И самое важное: точно ли бабуля хотела, чтобы я нашла ответы на эти вопросы?

На экране ноутбука мигает предупреждение, что у аккумулятора осталось всего десять процентов заряда. Я смотрю на время и понимаю, что сижу здесь уже два с лишним часа. Сделаем так: переведу еще одну запись, а потом вернусь на рю де Маркиз и продолжу осмотр. Я набираю в «Переводчике» первое предложение, ожидая очередных душераздирающих новостей.

Но оказывается совсем наоборот.

Беру свои слова обратно. Ничего еще не кончено. Надежда еще есть. Мне с трудом удастся сдерживать дрожь в руках!

Французский генерал по имени Шарль де Голль произнес речь по «Би-би-си» сегодня вечером. Он поклялся, что однажды враг будет разбит, и призвал мужчин присоединиться к нему в Лондоне. В конце своего выступления он произнес фразу, которую я никогда не забуду: «Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно потухнуть и не потухнет».

Сегодня мы с Хлоей всю ночь не могли уснуть от возбуж-

дения.

Вы слышали? Борьба еще не окончена!

Я готова подпрыгнуть и начать аплодировать, хотя, конечно, никогда не сделала бы такого на публике. Но все равно чувствую, что я там, вместе с Адалин, и разделяю ее волнение. Проведя кончиками пальцев по хрупкой странице, пожелтевшей по краям, я словно ощущаю поток энергии, льющейся через бумагу от Адалин ко мне.

Я слышала о французском Сопротивлении. Мистер Йип кратко рассказывал об этом на занятиях по европейской истории времен Второй мировой войны. Я помню, что они взрывали поезда и здания, которые захватили немцы. Имя Шарля де Голля мне тоже известно, но в основном благодаря тому, что в честь него назвали парижский аэропорт. Было смело с его стороны выступить по радио всего спустя день после Петена и сказать народу Франции, что им следует поступать вопреки приказу правительства. Как бы я реагировала, если бы находилась там, в доме дяди Жерара вместе с бабулей и Адалин, собравшимися вокруг радио в дни отчаянной неопределенности? Я бы скорее поверила Петену, как их мать, или вместе с бабулей и Адалин поддержала де Голля? Если бы я находилась тогда, на той дороге из Парижа – если бы я видела те страшные вещи, что видели они, – я бы знала, чью сторону займу.

Я бы хотела бороться до конца.

Вернувшись в квартиру номер пять, заканчиваю свое турне главной спальней в конце коридора. Комната оказывается очень элегантной, больше комнаты моих родителей дома. Здесь стоят большая кровать под балдахином, комод и старомодный туалетный столик с круглым зеркалом. Повсюду мне попадает все больше фотографий семьи в рамках, и я рассматриваю их одну за другой. Я вглядываюсь в черно-белое лицо бабули, скучая по ней все больше с каждой секундой. Но сейчас, прочтя дневник Адалин, ощущаю некую связь и с этой темноволосой девушкой. В чем-то мы с ней похожи. Прежде всего, мы обе любили бабулю. И обе пытались сделать все, что могли, чтобы сплотить наши семьи.

Закончив с фотографиями на туалетном столике, я открываю самый верхний ящик. К моему удивлению, в нем оказывается целая гора газетных вырезок. Судя по всему, все они родом со страниц светской хроники, потому что фотографии изображают дорогие вечеринки, а внизу значатся имена гостей и дизайнеров, наряды которых те носили. Рассматривая их, я на каждом снимке замечаю улыбающееся лицо Адалин, окруженной молодыми людьми в дорогих костюмах и украшениях.

Ну, в этом смысле у нас с Адалин общего оказывается мало. Я не хочу сказать, что Ханна, Камилла и я барахтаемся в самом низу социальной лестницы, но мы не настолько популярны, чтобы нас приглашали на вечеринки в особняк Кэтрин Ким в Шорт-Хиллс. В выходные мы в основном зани-

маемся тем, что пытаемся повторить рецепты из «Лучшего пекаря Британии»⁸.

Я сажусь у туалетного столика, чтобы просмотреть вырезки. Все они датируются концом тридцатых – началом сороковых годов, то есть некоторые сделаны после нацистской оккупации. Это странно. Если верить дневнику Адалин, капитуляция Франции стала абсолютным концом света, но, судя по ее фото с друзьями на вечеринке в октябре 1942 года, во время войны она не выглядела такой уж несчастной.

Фотографии неотличимы одна от другой, и я начинаю листать их быстрее. Но вдруг, ближе к концу стопки, натыкаюсь на снимок, при виде которого чуть не падаю со стула.

Это не может быть правдой.

Я не понимаю.

Я не хочу понимать.

Фотография, как и остальные, вырезана из газеты. На ней Адалин сидит за столом в первоклассном ресторане. Белоснежная скатерть, дорогая сервировка. Компанию ей составляют шестеро мужчин в военной форме...

...с нацистскими нарукавными повязками.

И все бы ничего, но Адалин, кажется, совсем не против их компании.

На меня накатывает приступ тошноты.

Вскочив на ноги, я отбрасываю вырезки, словно они горят

⁸ The Great British Bake Off (*англ.*) – телепрограмма, участниками которой становятся десять пекарей-любителей. – (*Прим. ред.*)

у меня в руках, и с грохотом закрываю ящик. Мой мозг пытается понять, что я только что увидела. Что?.. Как?..

Должно существовать разумное объяснение. Именно поэтому бабуля прожила всю жизнь, никому не рассказывая об Адалин. Она стыдилась того, кем та стала. Интересно, как долго они не виделись или даже не общались друг с другом? Неужели они и умерли...

Подождите-ка. Я просто предполагаю, что Адалин уже нет в живых, но это не обязательно так.

Бабуле в этом году перевалило за девяносто. Мы по этому случаю устроили вечеринку в ее маленькой квартире. Судя по семейным фотографиям, Адалин была на пару лет старше, поэтому сейчас ей может быть, скажем, девяносто два? Девяносто три? Да, это много, но она вполне могла дожить до такого возраста. Прабабке Ханны сейчас сто три, и она еще частично в своем уме. Насколько я знаю, Адалин может жить прямо здесь, в Париже... и она остается единственным человеком во всем мире, кто может рассказать мне, что случилось с ее семьей. С моей семьей.

Но что-то все равно не сходится. Я расхаживаю по комнате в раздумьях, скрестив руки на груди. Даже если Адалин жива, точно ли я хочу потратить все лето на поиски человека, который сотрудничал с нацистами? Внутренний голос говорит мне бросить это дело – Адалин не зря вычеркнули из общей картины, на то имелась веская причина. Бабуля любила свою семью. Она обожала дедушку, маму, папу и меня. Ес-

ли она захотела порвать все связи с собственной сестрой, то можно с уверенностью предположить, что Адалин действительно изменилась, и далеко не в лучшую сторону.

Окей... Но тогда зачем оставлять мне квартиру? Если бабуля *в самом деле* хотела вычеркнуть Адалин из своей жизни, зачем тогда она дала мне ключ – в буквальном смысле – к пониманию, кем та стала? И еще, как насчет дневника Адалин? Как могла девушка на той фотографии быть тем же человеком, который видел налет немецких бомбардировщиков на ни в чем не повинных беженцев? Как она могла быть тем же человеком, который писал, что ее мир раскололся? Две эти мысли никак не складываются у меня в голове. Я оста-навливаюсь перед фотографией маленьких бабули и Адалин, где им лет по десять и они обнимают друга за талии. Она еще может быть жива... и, возможно, даже живет поблизости... Если я найду ее, то получу ответы на все вопросы...

Голова у меня почти взрывается. Я массирую грудь, чтобы снять копившееся там последние несколько минут напряжение, но расслабиться это не помогает.

Я только что всерьез думала о том, чтобы разыскать человека с *нацистской фотографии*.

Даже если отчаянно хочу разобраться в прошлом бабули и в этой старой квартире, которая каким-то образом принадлежит теперь *мне*, к такому шагу я еще не готова. По крайней мере, пока. Следует узнать как можно больше из дневника Адалин, прежде чем предпринимать более радикальные ме-

ры.

Странная штука жизнь. Стоит тебе подумать, что ты понял что-то, все тут же усложняется так, как нельзя было и представить.

Глава 3

Адалин

– Девочки, вы уже оделись? Не забудьте жакеты, на улице прохладно.

Голос *Матан* звучит мягко, но в нем чувствуются резкие нотки. Она в пальто ждет нас в фойе уже пять минут, и я знаю, как она торопится на званый ужин к мадам Ларош, чтобы мы успели вернуться до начала комендантского часа. Лично я готова, не считая того, что в данный момент стою на пороге спальни Хлои, наблюдая за тем, как моя четырнадцатилетняя сестра, старательно растягивая время, ищет свои чулки.

- Может, они под кроватью?
- Нет их там, – отвечает она.
- Может, ты случайно сунула их в другой ящик?
- Вряд ли.
- Они действительно потерялись или ты просто не хочешь видеть *Матан*?

Молчание.

Но я чувствую, что проблема в этом. Я знаю Хлою лучше, чем кто бы то ни было, и в любой ситуации моя сестра так же

деликатна, как фейерверк. Она никогда не умела скрывать эмоции и часто прямо высказывает то, о чем думает в тот или иной момент. Мы полные противоположности, она и я: люди жалуются, что *всегда* знают, что на уме у Хлои, и те же люди жалуются, что *никогда* не знают, что на уме у меня. Я всегда исходила из того, что надо просчитывать все риски перед тем, как сказать или сделать что-то, о чем потом могу пожалеть.

Я тяну сестру к себе, чтобы она присела ко мне на краешек кровати, Хлоя так и делает, подтянув колени к груди. Светлые волосы падают ей на лицо, и она раздраженно сдувает непослушную прядь.

– Это из-за солдата, – начинаю я осторожно. Одно неверное движение, и она взорвется.

– Ей не стоило так злиться на меня, – ворчит Хлоя.

С тех пор как мы вернулись с фермы дяди Жерара, они с *Матан* ругаются чаще обычного. *Матан*, которая посещала пансион благородных девиц и всегда знает, что нужно сказать в той или иной ситуации, больше других раздражает своевольное поведение Хлои. Война еще больше усилила противоречия между ними. *Матан*, казалось, старается изо всех сил приспособиться к новой реальности, в то время как Хлоя цепляется за любую возможность показать, как ей все это ненавистно.

А я, как обычно, нахожусь где-то посередине.

Пару недель назад Хлоя ввалилась ко мне в комнату, в

глазах у нее бушевало пламя. Она размахивала скомканным листком, который нашла на стуле в кафе, и не пожалела времени, чтобы опуститься на колени и разгладить его на твердом деревянном полу специально для меня. Надпись сверху гласила: «Тридцать три совета оккупированным», а ниже шел длинный перечень того, как простые люди могли усложнить жизнь немцам, например, так:

*– Если один из них обращается к вам на немецком, при-
творитесь, что не понимаете, и идите своей дорогой;*

*– Если к вам обращаются на французском, вы все равно не
обязаны показывать дорогу. Этот человек не ваш спутник
в путешествии;*

*– Если в кафе или ресторане они пытаются заговорить
с вами, вежливо дайте понять, что то, о чем они говорят,
вас не интересует;*

*– Демонстрируйте вежливое безразличие, но не позволяй-
те своему гневу угаснуть. Он вам еще пригодится.*

– Потрясающе, правда? – воскликнула Хлоя. – Так много людей тоже хотят противостоять им!

И правда, это было чудесное ощущение – знать, что мы не одни. Кое-кто из девочек в школе отпускает замечания насчет того, как галантно ведут себя немцы, не говоря уже о том, что многие оказались хороши собой – мускулы так и выпирают под серо-зеленой униформой. Конечно, нам уже давно не представлялось возможности поглазеть на симпа-

тичных парней, но я не собираюсь доверять нашим захватчикам, неважно, насколько вежливыми и симпатичными они выглядят. Только не после того, что видела тогда на дороге. Я провожу пальцами по строчкам «Тридцати трех советов...», с трудом убеждая себя, что текст настоящий. Не задумываясь над тем, что именно говорю, я выдыхаю: «Это гениально».

Мне следовало понимать, что моя реакция воодушевит сестру. Вчера Хлоя, *Maman* и я возвращались на метро с почты, где забирали ящик овощей от дяди Жерара, и нас остановил светловолосый солдат, спросив на немецком, как ему доехать куда-то. Еще до того, как мы с *Maman* успели отреагировать, Хлоя шагнула прямо к нему, уперла руки в бока и заявила на французском: «Мы не понимаем ни слова из того, что ты говоришь, более того, нам все равно».

Если первая часть фразы была явной ложью, потому что мы обе в школе учили немецкий, то вторая – истинной правдой. Солдат, похоже, понял, что Хлоя его оскорбила, и вежливая улыбка пропала с его лица. Он начал злиться, но сестра, вместо того чтобы отступить, подошла к нему еще ближе, будто вызывая на бой. Сделает ли он это? Арестует ли ее за вызывающее поведение? В следующую секунду я готова была рвануться вперед и оттащить Хлою, но тут на станцию наконец подошел поезд. *Maman*, бледная как мел, указала на него и крикнула солдату на немецком: «Вот ваш поезд, мсье. Примите наши глубочайшие извинения!» Потом схватила нас обеих за руки и потащила в противоположную

сторону.

Едва мы вернулись домой, *Матап* отправила Хлою в ее комнату, и та не выходила даже к ужину. Они, скорее всего, и дальше не разговаривали бы друг с другом, если бы мадам Ларош не пригласила нас сегодня на званый ужин.

Я кладу руку на колено Хлои.

– *Матап* всего лишь пыталась тебя защитить. Откуда она могла знать, как отреагирует тот солдат?

– Она пыталась оказаться ему полезной!

Я вздыхаю, понимая, что отчасти Хлоя права. *Матап* могла бы быть чуть менее вежливой с каждым немецким офицером, мимо которого мы проходим на улице. Но в то же время самой Хлое стоит прекращать руководствоваться лишь своими односторонними суждениями. Иногда мне хочется взять ее за плечи и как следует встряхнуть. Она реже влипала бы в неприятности, если бы время от времени вела себя более гибко.

– Просто будь осторожнее, хорошо?

Хлоя стонет.

– Адалин, ты не понимаешь.

– Чего я не понимаю?

– Как отчаянно я хочу сражаться. Ну не могу я сидеть сложа руки. Я должна что-то делать.

Я сопротивляюсь желанию начать оправдываться после этих слов. Естественно, я тоже хочу сражаться. Естественно, я хочу что-то делать – вернее, *уже* кое-что сделала. Но я ста-

раюсь действовать более аккуратно и скрытно, в отличие от Хлои, устроившей в метро это опасное представление.

В этот момент я слышу постукивание каблучков *Matan* в коридоре – звук, который ни с чем не спутаешь. Быстро схватив Хлою за руку, я шепчу ей: «Я на твоей стороне, Хлоя. Всегда. А теперь постарайся сделать так, чтобы этот дурацкий званый ужин прошел без происшествий».

И сразу вслед за этим в проеме двери появляется голова *Matan*. Щеки ее покраснелись от долгого ожидания в теплом пальто.

– Девочки, мне бы не хотелось заставлять наших друзей ждать. Хлоя, ради всего святого, где твои чулки?

Я сжимаю ее руку. Вздохнув, сестра подходит к шкафу и вытаскивает пару шелковых чулок из ящика, где хранила их всю жизнь.

– Нашла, – объявляет она.

Как только мы с Хлоей надеваем жакеты, *Rara* выходит из своего кабинета, чтобы проводить нас. Его бакенбарды жестко проходятся по моим щекам, когда он целует меня на прощание. Раньше он присоединился бы к нам, но уже долгое время после возвращения отец не выходит из дома. Он взял отпуск на неопределенное время в университете, где работает на историческом факультете, мало смеется, да и говорит мало. Он стал оболочкой, призраком прежнего себя.

– Думаю, что буду уже спать, когда вы вернетесь, – говорит *Rara*.

Он весь словно немного помят, и *Матап* разглаживает его, начиная с волос и двигаясь к скомканному воротнику домашнего халата, как будто держа отца обеими руками. Когда ее пальцы останавливаются на его щеках, *Рара* поворачивает голову, чтобы поцеловать ее ладонь.

– Суп на плите, дорогой, – напоминает *Матап*.

– Одett, – отвечает *Рара*, – ты прекрасна, как всегда. Спасибо.

– Я буду очень скучать.

– Я тоже буду очень скучать.

Они целуют друг друга. Когда однажды я выйду замуж, то хочу, чтобы у меня все было как у родителей: они безумно любят друг друга даже в самые трудные времена. *Рара* машет двумя пальцами, закрывая за нами дверь.

Матап и мадам Ларош дружили еще со школы. Именно она познакомила *Матап* с *Рара*, тихим, обаятельным профессором, который во время Великой Войны служил в том же полку, что и мсье Ларош. Мадам Ларош развелась с мужем пару лет назад, и с тех пор у нее образовалось много свободного времени, которое она тратит на расточительные званые ужины для огромного круга друзей.

До начала войны мне нравилось ходить на эти вечеринки, потому что там я могла увидеться с моими дорогими подругами, Шарлотт и Симоной, чьи родители тоже были близки с мадам Ларош. Но я не видела их уже несколько месяцев. Семья Шарлотт предусмотрительно отплыла в Южную Аме-

рику еще прошлой зимой, а семья Симоны остается в загородном доме в Марселе, в Свободной зоне. Сегодня там будут только два человека моего возраста, близнецы Ларош, с которыми меня абсолютно ничего не связывает. Спасибо, хоть Хлоя рядом.

– Одетт! Адалин! Хлоя!

Мадам Ларош – это видение, сотканное из синего шелка и бриллиантов. Она целует каждую из нас, когда мы ступаем через порог ее особняка на рю дю Фобур Сент-Оноре.

– Выглядите просто восхитительно. Нынешние тяжелые времена вас пощадили.

– Стараемся как можем, – отвечает *Матан*, когда подходит служанка, чтобы забрать пальто.

Повернувшись на каблуках, мадам Ларош ведет нас по увешанному зеркалами коридору в гостиную, где ее семнадцатилетние дочери Мари и Моник потягивают на диване шампанское. У самой мадам Ларош вытянутое лицо и крупные зубы, прямо как у тех лошадей, что она разводит, и дочери выглядят ее точными копиями, только моложе. Они одновременно приветствуют нас. У их ног стоит кофейный столик с серебряным подносом, полным хлеба, сыра и масла. Брови *Матан* исчезают в ее идеально уложенной челке.

– О, Женевьева, ты только посмотри на это масло! Где ты его достала?

Но все и так знают, где мадам Ларош берет масло. Как минимум половину всего этого она приобрела на черном рын-

ке, потому что при той системе продовольственных карточек, которую установили немцы, другого способа достать такое количество продуктов не существует. Я почти уверена, что *Матап* поступает так же – я как-то видела, что она возвращалась с рынка с подозрительно большим свертком соленой говядины и любимым коньяком *Рара*.

Мадам Ларош, намазывая маслом кусочек хлеба и кладя его в рот, озорно улыбается.

– Надо знать, где искать, – произносит она вполголоса.

Хлоя шумно сопит.

Мадам Ларош делает вид, что не замечает этого.

– Плохо, что Анри сегодня не пришел. Мы так хотели его увидеть.

Матап вздыхает.

– Он бы и хотел прийти, но чувствует себя неважно, к сожалению. Он шлет вам самые теплые пожелания.

– Опять нервы? – уточняет мадам Ларош.

– Боюсь, что да. Такие приступы случались у него время от времени и раньше, но с мая они стали постоянными. Даже грохот их сапог ему трудно выносить...

Мадам Ларош хмурится и гладит *Матап* по руке.

– Для тебя это тоже, должно быть, тяжело, Одетт.

Матап криво улыбается, выдавая скрывающуюся за улыбкой печаль. Я знаю, что страдания *Рара* разбивают ей сердце. Когда у него случается особенно сильный приступ, она садится рядом и держит *Рара* за руку, шепча что-то успо-

каивающее ему на ухо, пока паника не проходит.

Разгладив платье, *Matan* возвращает на лицо прежнее выражение и выпрямляется.

– Самое правильное, что мы с девочками можем сделать, это верить в лучшее. – Ее взгляд на мгновение устремляется в мою сторону, ища поддержки. Я киваю, но не потому что соглашаюсь с тем, что нужно оставаться позитивной, а потому что знаю, как отчаянно она хочет помочь *Papa*. – Мы должны показать ему, что здесь нечего бояться, – продолжает *Matan*. – Что мы можем пройти через это, как прошли через последнюю войну.

– Именно так, – кивает мадам Ларош. – Особенно теперь, когда с нами Старый Маршал.

– Да. Маршал Петен спас Францию в Великой Войне и сделает это снова, – убежденно заявляет *Matan*. – Если он говорит, что сотрудничество – это лучший выход... мы должны ему верить.

– Согласна с тобой, – отвечает мадам Ларош.

Она промакивает губы салфеткой, и я чувствую, как маятник беседы качается в мою сторону еще до того, как она поворачивается ко мне.

– Ну, а теперь скажи нам, Адалин, не встретила ли ты в эти дни какого-нибудь прекрасного юношу?

Когда разговор заходит обо мне, это первое, что хотят знать друзья *Matan*.

– Пока никого, мадам Ларош, – отвечаю я. – Хотя я сейчас

все равно не в настроении.

Она качает головой и вздыхает.

– Если бы только наши бедные мужчины могли вернуться домой...

Из-за войны молодых людей в Париже в эти дни почти не осталось, за исключением тех, кто еще ходит в школу. Это трагедия – и не потому, что у меня не осталось кандидатов для любовной интрижки. Те, кто ушел на войну, либо уже мертвы, либо содержатся в немецких лагерях для военнопленных. Наша соседка снизу, мадам Бланшар, не получает вестей от сына с тех пор, как он попал в плен под Дюнкерком в июне. Кажется, эта пожилая женщина худеет все больше всякий раз, как я ее вижу.

Мари наклоняется, покручивая между пальцами ножку бокала для шампанского.

– Знаешь, некоторые из немцев довольно симпатичные, – признается она.

– Ты говоришь так только потому, что слишком долго не видела *наших собственных* парней, – вмешивается Моник.

– Может, и так, – задумчиво тянет Мари. – Им, конечно, не хватает французского шарма, но они *и правда* симпатичные. И более воспитанные, чем ты думаешь. Один из них недавно помог мне поднять рассыпавшиеся продукты.

– Уверена, наши мужчины в лагерях были бы счастливы услышать это, – бормочет сквозь зубы моя сестра.

– Что ты сказала? – удивляется мадам Ларош.

Матап бросает на Хлою предупреждающий взгляд.

– Адалин, дорогая, почему бы тебе не сыграть нам что-нибудь?

Я тут же вскакиваю, разминая пальцы. На пианино я играю с восьми лет и беру уроки дважды в неделю у женщины по имени Матильда, которая живет рядом со школой. Мне нравится практиковаться на нашем небольшом пианино дома, том же самом, на котором играл *Рара* до своего ранения, но есть что-то невероятное в том, чтобы сидеть за этим сверкающим роялем в углу гостиной. Когда наступят более счастливые времена, я буду приносить к мадам Ларош свои песенники и играть часами.

Открывая крышку рояля и осматриваясь в поисках того, что можно сыграть, я слышу ее голос:

– Она еще берет уроки, Одетт?

– Брала, но ее учительница сейчас в Свободной зоне. Адалин, что Матильда писала в последнем письме?

– Она думает, как получить разрешение вернуться в Париж, – отвечаю я.

– Надеюсь, у нее получится, – кивает мадам Ларош. – Такой талант, как у тебя, не должен пропадать.

Я наконец нахожу партитуру одного из моих любимых произведений – концерта Моцарта для фортепиано № 27. Меня познакомил с ним *Рара*. Он говорит, что эти звуки напоминают ему о весне.

Когда мои пальцы принимаются порхать по клавишам, я

позволяю трепещущим нотам перенести меня на другой званный ужин, который мадам Ларош устраивала в начале прошлого года. С нами тогда был *Papa*, мы болтали и смеялись до позднего вечера, ведь никому не приходилось беспокоиться из-за комендантского часа. По пути домой мы остановились послушать группу уличных музыкантов, и *Papa* попросил *Maman* потанцевать с ним прямо на тротуаре. Я бросаю взгляд в сторону окна, но, разумеется, шторы плотно задернуты, чтобы наружу не просочился ни один луч света. Где-то там стоит Эйфелева башня с развевающимся на верхушке нацистским флагом. В Париже все изменилось, и мне остается только гадать, станем ли мы вновь когда-нибудь такими же беззаботными, как прежде.

Около половины седьмого я заканчиваю играть, и мы переходим в столовую, где прислуга выкладывала на тарелки ягненка с картофелем.

Среди звона столовых приборов мы вдруг слышим, как вдалеке по улице едет машина, и шесть пар глаз одновременно обращаются к окну. Привычный рокот двигателя стал пугать нас, потому что в основном водить автомобили теперь разрешалось только немцам. Никто не притронулся к еде, пока звук не затих вдали.

Мадам Ларош через стол смотрит на *Maman*.

– Когда вы приехали, заметили немцев на нашей улице?

– Да, – тут же отвечает Хлоя.

Maman добавляет более многозначительно:

– Их сегодня, кажется, даже больше обычного.

– Сколько бы ни было, их тут вообще не должно быть, – бурчит Хлоя.

Матап притворяется, что не слышит.

– А что, для этого есть причина, Женестьева?

– Есть, – немного нервничая, отвечает мадам Ларош. Она снова смотрит в сторону окна. – Немцы заняли несколько домов на Восьмой улице. Где-то они остаются как гости, где-то конфискуют все помещение.

Я содрогаюсь при мысли о немце у нас дома – следы его ботинок на ковре, мундир брошен на стул в кабинете *Папа*. В семье моей одноклассницы Аннет поселился один такой. Он занял главную спальню, что вынудило родителей Аннет спать в *ее* спальне, а *ее* – ютиться на одной кровати с двумя маленькими сестрами.

– Вам повезло, что у вас мало места, – говорю я мадам Ларош.

– Впервые мы счастливы, что у нас одна из самых маленьких квартир во всем квартале, – признается она. – Но, как я уже говорила девочкам, просто на случай, если это *произойдет*, мы должны сохранять положительное отношение к немцам. Ты совершенно правильно говоришь, Одетт: здесь нечего бояться.

– Положительное отношение – это лучший способ пройти через все это, – кивает *Матап*.

– Ну и в любом случае не все они страшные серые вол-

ки, — добавляет мадам Ларош. Она ждет, пока все внимание за столом не обратится к ней, и начинает рассказывать: — Недавно я шла домой с покупками, и на улице было так солнечно, что я подумала: «Почему бы не прогуляться, ведь погода такая чудесная?». Ну, я завернула за угол и первое, что увидела, было мое любимое бистро — куда я ходила еще в детстве — с немецкими буквами на нем. Какое-то нелепое длинное название, наверное. Заглянув внутрь, я не увидела знакомых — там сидели только люди в мундирах. И, как бы это сказать, меня словно сбил поезд на полном ходу. Не могу объяснить, что со мной случилось — я вдруг ощутила слабость в коленях! Я подумала, что упаду в обморок прямо здесь, посреди дороги! Но тут почувствовала руку на плече, и передо мной показалось лицо *немца*. Я только начала говорить: «Нет, не надо, пожалуйста, оставьте меня в покое», — я и так была достаточно измотана, — но он пригласил меня присесть к нему за столик. Не хотелось показаться невежливой, пришлось согласиться, и должна сказать, что в итоге беседа прошла довольно приятно. Он отлично говорил на французском, сказал мне, что мы живем в прекрасном городе, и даже спросил, что здесь можно посмотреть.

— А еще он дал тебе шампанского, — добавляет Мари.

— Да, — подтверждает мадам Ларош, хитро улыбаясь и поднимая бокал. — А еще он дал мне шампанского.

Я чувствую, как сидящая напротив меня Хлоя закипает от злости.

С фальшивой улыбкой я слушаю, как Мари и Моник размышляют, что бы еще такого из запрещенных продуктов они могли бы получить от немцев, и гадаю про себя, как бы они отреагировали, если бы знали, что я сделала в пятницу. Таких поступков люди скорее ждут от Хлои, а не от меня – девушки, которая обычно до последней запятой следует всем правилам. Я оставила воспоминания об этом при себе, возвращаясь к ним вновь и вновь, словно крутя в кармане сверкающую монету.

Когда мы возвращаемся домой и переодеваемся в пижамы, Хлоя ничком бросается на мою кровать.

– Это было ужасно, – стонет она в ватное одеяло.

Я осторожно сажусь рядом с ней, думая, что сказать. Хлоя – мой самый лучший друг, она ближе мне, чем Шарлотт и Симона вместе взятые, но в эти дни я не могу разобраться, какую часть себя мне стоит раскрывать ей. Я знаю, что у нее на уме, и больше всего опасаясь того, что нечаянно вдохновлю ее на очередной безрассудный поступок вроде столкновения с еще одним офицером вермахта. Вчера это сошло ей с рук, но в следующий раз все может сложиться совсем иначе.

– Согласна, кое-что и правда было ужасно, но не *вообще* все, – отвечаю я.

Хлоя плюхается на спину, словно выброшенная на берег рыба, в ее лице читается недоверие.

– Да *все* было плохо, все! Я должна была сидеть там и выслушивать излияния мадам Ларош на тему того, как она обо-

жает немцев. Может, она даже *хотела*, чтобы кто-то из них поселился у нее. Ведь у нее будет еще больше шампанского!

– Хлоя...

– Почему никто не ненавидит немцев так, как я? Почему никто не чувствует этого... черт возьми... гнева! – Она швыряет подушку через всю комнату, и та попадает в стопку книг у окна. – Почему ты не чувствуешь этого гнева, Адалин? Ты просто сидела там и улыбалась.

– Не знаю, Хлоя. – Я кручу в пальцах кружевной край ночной рубашки, не в силах посмотреть ей в глаза. Потом, криво улыбнувшись, добавляю: – Но в тот день, когда война закончится, я скажу мадам Ларош, что она невыносима.

Сидя взаперти этой весной на ферме дяди Жерара, мы с Хлоей придумали игру. Правила проще некуда: ты называешь вещи, которые тебе не терпится сделать, когда война закончится.

Хлоя закатывает глаза.

– Ты прекрасно знаешь, что можешь сообщить ей об этом хоть сейчас, разве нет? – И, улыбнувшись в ответ, добавляет: – Я разобью все бутылки шампанского, что подарил ей тот немецкий солдат.

Вскоре мы с ней уже перечисляем наши грандиозные планы: запихивать в себя шоколадные булочки до тех пор, пока не заболит живот. Заехать на лифте на самую вершину Эйфелевой башни (сейчас он не работает, кто-то испортил проводку, чтобы немцам пришлось нести свой флаг пешком).

Кататься вечерами вдоль набережной Сены, любуясь небом и огнями Парижа.

– С симпатичным мальчиком, – добавляет Хлоя.

– Да, с симпатичным мальчиком.

Когда Хлоя спустя полчаса наконец уходит к себе, я с облегчением выдыхаю. Мне кажется, что все это время я почти не дышала. Подбежав к ящику стола, я вытаскиваю записную книжку в черной кожаной обложке, которую нашла у дяди Жерара. Полезно иметь под рукой дневник. Сейчас это единственное место, где я могу откровенно выразить все свои чувства.

Я начинаю писать о званом ужине мадам Ларош. Хлоя права: это было ужасно. *Матан* ведет себя так, чтобы держаться ради *Рара*, и хочет верить Петену, старому французскому герою войны. Многие из тех, кто пережил Великую Войну, все еще уважают его. Но еще одна вещь остается целиком на совести мадам Ларош, которая так хвалила встреченного на улице немца, и Мари, которую так *влекло* к ним. Как они могут смотреть на немцев и видеть в них что-то еще, кроме зла, отравляющего наши улицы? Едва мой карандаш касается бумаги, внутри словно открывается шлюз. Гнев вырывается на бумагу, как бурная, вышедшая из берегов река, затапливающая все вокруг.

Закончив, я падаю на подушки, измученная, но уже более спокойная. Я написала почти обо всем, что касалось нашей новой чудовищной реальности, от бегства из Парижа в тол-

не беженцев до возвращения домой, когда я увидела, что из моего любимого города высосали всю жизнь. Я писала о комендантском часе, продовольственных карточках, шоке, который испытала, увидев немцев в тех местах, что раньше были *нашими*. Как же хорошо выпустить все эти чувства наружу – иногда.

Но в другие дни даже дневник не мог вместить всю мою ярость.

Два дня назад, в пятницу, я шла домой из школы после дополнительных занятий и вдруг увидела трех гнусно хихикающих немцев шагах в пятидесяти впереди. От звука этого смеха у меня кровь застыла в жилах. Я сразу поняла, что это жестокий смех, из-за выражения их глаз в этот момент, и один из них показал пальцем на другую сторону улицы.

Ужасное зрелище. Мсье де Мец, приятный мужчина, владелец кошерного продуктового магазина, беспомощно стоял на коленях на земле посреди того, что я сначала приняла за снег, но на самом деле это оказалось бесчисленными мелкими осколками стекла. Кто-то – скорее всего, вся троица – разбил витрину его магазина. Как я хотела в этот момент, чтобы Лароши посмотрели на то, что *на самом деле* представляют собой их вежливые и воспитанные нацисты.

Не думая ни секунды, я бросила рюкзак и побежала к нему, чтобы помочь. Но мсье де Мец посмотрел мне прямо в глаза (солдатам было слишком весело, и они еще ничего не заметили). С тихой настойчивостью торговец одарил ме-

ня взглядом и кивком головы, одновременно означающими «Спасибо» и «Тебе лучше поскорее убраться отсюда». Я кивнула, не дожидаясь худшего развития событий, подхватила рюкзак и свернула в переулок, пока солдаты не поняли, что я вообще была здесь.

Удаляясь от разоренного магазина мсье де Меца, я дрожала от злости. В этот момент я была сыта по горло своими вежливыми улыбками, адресованными маме и ее друзьям – да и всем остальным тоже. Я чувствовала, что больше не могу притворяться. Только не тогда, когда *такое* происходит в Париже. Дальше я помнила только то, что по щекам побежали слезы.

Подняв, наконец, глаза от земли, я заметила отвратительные немецкие плакаты, расклеенные по стене справа от меня. Улыбающиеся светловолосые семьи с реющими над ними свастиками. Адольф Гитлер – немецкий фюрер – поднимал в воздух нацистский флаг. Я не могла сдерживать гнев. Я хотела уничтожить их. И вокруг не было никого, кто мог бы это увидеть.

Плакат отошел от стены с приятным треском рвущейся бумаги. Копившийся месяцами гнев сорвался с кончиков пальцев. После первого плаката мне стало так хорошо, что далее я не медлила ни секунды. Два превратились в три, затем в четыре, и вскоре во всем переулке не осталось ни одного чертового нацистского плаката. Достигнув конца улочки, я уже задыхалась, а ногти покрылись зазубринами от кир-

пичной стены.

И тут позади себя я услышала кляцанье сапог. В животе у меня все сжалось. Кто-то, должно быть, все-таки меня услышал.

Я почувствовала себя крохотной мышью в открытом поле, над которой кружат ястребы. Сердце пульсировало в висках, отдаваясь страхом во всем теле. *Думай, Адалин.* Дойти до конца переулка и скрыться я не успевала. В панике я нырнула в темный закуток за брошенным автомобилем, сунув в рюкзак порванные плакаты.

Я все еще слышала шаги. Бесшумно выглянув, я осмотрелась. Точно, немецкий солдат вошел в переулок, обеими руками сжимая винтовку. *Пожалуйста, повернись. Пожалуйста.*

– *Wer ist da?*⁹

Ну все, теперь мне конец. Я была уверена в этом. Он найдет меня вместе с сорванными плакатами, вытащит из моего укрытия и отправит в тюрьму, если не убьет прямо на месте. Я представила себе лица мамы, папы и Хлои. Дяди Жерара, Симоны и Шарлотт. Я больше никогда их не увижу. Сжавшись в темноте, я поджала колени к груди. Мне хотелось уменьшиться настолько, чтобы просочиться сквозь трещины в кирпиче или уместиться под галькой. Я не двигалась и почти не дышала.

Судя по звуку шагов, солдат находился от моего убежища

⁹ Кто здесь? (нем.)

не более чем в двух метрах, но тут с улицы раздались голоса других немцев, зовущих его. На мгновение я испугалась, что они присоединятся к нему, но потом со вздохом облегчения такого сильного, какого мне еще никогда не доводилось испытать, я услышала, как первый солдат, повернувшись на каблуках, поспешил обратно.

Не теряя ни секунды, я покинула переулок, выбросив плакаты в водосток, где они исчезли навсегда. Вернувшись домой, я поцеловала родителей и болтала с Хлоей о том, как прошел день в школе. Поиграла на пианино. И ни словом не обмолвилась о том, что сделала.

Никто даже не догадался.

Глава 4

Адалин

Когда я в первый раз сорвала нацистские плакаты, это едва не закончилось катастрофой.

Но в следующий раз – и много раз после – все проходит без заминок. Чем чаще я делаю это, тем лучше у меня получается ускользать в тень, когда никто не видит, и быстро срывать плакаты со стен. И всякий раз я слышу в голове слова генерала де Голля об огне французского Сопротивления. Каждую успешную вылазку я ощущаю как маленькую победу для Франции, даже если о ней знаю только я.

Как обычно, в субботу *Матан* отправляет меня с продовольственными карточками всей семьи к мяснику, чтобы посмотреть, что можно получить у него сегодня на ужин. Немцы – или *боши*, как все их зовут, – обычно перекрывают случайные участки дороги, поэтому каждый выход из дома становится упражнением по ориентированию в новой обстановке. Всякий раз я иду по разным улицам с надвигающимися на меня немецкими знаками. Вижу широкие бульвары, на которых почти нет машин, и голодных людей, стоящих в очередях за продуктами, которых могло и не быть. Но еще более

страшным мне кажется *звук* оккупации. От окружающей тишины мурашки бегут по спине. Никаких автомобилей, никакого шума и суеты повседневной жизни. Только шаркающие по мостовой прохожие и испуганный шепот.

Я почти дохожу до лавки мясника, когда замечаю их: расклеенную в переулке свежую партию плакатов. В груди у меня что-то сжимается, пальцы дрожат. Я хочу сорвать их все немедленно, но понимаю, что если сейчас не встану в очередь, то к моменту, когда подойду к окошку, мне ничего не достанется. Поэтому я занимаю место в самом конце, позади пары десятков бледных матерей с голодными детьми, которые жмутся к их коленям.

Проходит час, и наконец показывается окошко мясника. Моя продовольственная книжка с квадратными купонами на продукты уже наготове. Когда доходит очередь до меня, мясник отрывает один из четырех купонов и бросает в мою корзину единственную тощую колбаску. «Боюсь, на сегодня все», – объявляет он остальным.

Стоящая прямо за мной женщина испускает краткий отчаянный стон. Я была так занята плакатами, что даже не успела взглянуть на нее. Вокруг сгрудилось четыре маленьких ребенка, ее голые ноги дрожат на холодном ветру конца ноября. В эти дни невозможно найти шелковые чулки дешевле трехсот франков.

Я перекладываю свою колбасу в ее корзину.

– Вам она нужнее, – настаиваю я и замечаю, как на ее ли-

це отражаются радость и облегчение. Я жалею, что без толку простояла в очереди целый час, но знаю, что совесть будет грызть меня еще сильнее, если я заберу себе эту последнюю колбаску, когда мы и так скоро получим очередную посылку от дяди Жерара с беконом, сыром и овощами. *Матап* я скажу, что для нас ничего не осталось.

С пустой корзиной, покачивающейся у меня на боку, я спешу в переулок, стараясь не привлекать внимания. Вот они, справа, все ближе и ближе. Наконец я быстро, как кошка, ныряю в проем между домами.

Ох. Этого я не ожидала.

Там есть кто-то еще – мальчик. И он что-то делает с одним из плакатов. Я размышляю, не стоит ли мне выскользнуть обратно на улицу, пока он меня не заметил. Но тут мальчик отходит от стены, и я вижу, что у бумажного Гитлера на лбу мелом нарисован необычный знак. Это крест, но с двумя горизонтальными линиями вместо одной. Сердце подпрыгивает в груди. Мне нужно знать больше. Я подхожу ближе, мальчик оглядывается и понимает, что не один.

Он примерно моего роста, с коротко стриженными русыми волосами и в круглых очках в толстой оправе. Убегать он почему-то не стал, но выглядит настороженно. Я должна сделать первый шаг и решаю рискнуть.

– Видеть их не могу, – говорю я, кивая на плакаты.

– Я тоже, – осторожно отвечает он.

Думаю, в этот момент мы проверяем друг друга. Часть ме-

ня понимает, что опасно плохо отзываться о немцах в разговоре с незнакомцем, но большая часть отчаянно хочет знать, что он рисовал.

– Иногда я их срываю, – признаюсь я. – Собственно, за этим я сюда и пришла.

Он заметно расслабляется и выглядит впечатленным.

– Серьезно? – спрашивает он. – И тебя ни разу не поймали?

– Ну, разве что сейчас.

Мальчик улыбается, и я продолжаю:

– Я должна знать... что за символ ты нарисовал?

– Лотарингский крест, – отвечает он. – Это значит, что я поддерживаю де Голля.

– Де Голля! – Я с трудом могу в это поверить и чуть не роняю корзину. – Я слушала его выступление по радио в июне!

И тут, словно по команде, мы цитируем одновременно:

«Что бы ни случилось, пламя французского Сопротивления не должно потухнуть и не потухнет».

На лице мальчика появляется довольная улыбка.

– Я Арно Михник.

– Я Адалин Бономм.

Мыжимаем руки.

– Эй, Адалин, слышала новость? На днях в девять двадцать вечера еврей убил немецкого солдата, вскрыл ему грудь и съел сердце.

Я замираю.

– Что, прости?

– Да шучу я.

– Евреи бы такую шутку не оценили, – отвечаю я.

– Адалин, – произносит он, – *я сам еврей*.

В его улыбке больше добра, чем жесткости, поэтому я скрешиваю руки, позволяя ему продолжить. Арно драматично откашливается.

– Видишь ли, то, что я сказал, невозможно по трем причинам. У немцев нет сердца. Евреи не едят свинину. А в девять двадцать все сидят дома и смотрят «Би-би-си».

Я смеюсь – так смеется человек, который не делал этого уже очень давно. В этом смехе сливаются воедино облегчение и бесконечное отчаяние. После чего, оглянувшись через плечо и убедившись, что за нами никто не наблюдает, я шагаю к стене, срываю плакат и прячу его под ткань на дне корзины.

– Умно – прятать их там.

– Никто не заподозрит идущую с покупками молодую девушку.

Я иду по переулку рядом с Арно, радуясь тому, что у меня впервые появился сообщник в моих преступлениях. Мне было бы легче, если бы кто-то посматривал вокруг, пока я срываю плакаты. У меня никогда не хватило бы смелости заняться этим вместе с Хлоей: не только потому, что я не хочу подвергать ее любой, даже малейшей опасности. Просто я подозреваю, что, сорвав плакаты, она побежит по улице,

триумфально размахивая ими над головой.

Содрав последний плакат со стены, я уже хочу знать, когда мы сделаем это снова, но не представляю, как спросить об этом Арно. Я понятия не имею, значит ли для него эта пятнадцатиминутная операция столько же, сколько для меня. Встретить кого-то вне семьи, разделяющего мои взгляды... это словно потеряться в море и вдруг увидеть на горизонте землю.

– Я хочу еще, – решаюсь я сказать ему прямо.

– Пройдешься со мной до метро?

Что я могу ответить? Стараясь поддержать эту внезапно возникшую связь, я соглашаюсь и следую за ним, и скоро мы уже шагаем нога в ногу, как старые друзья. Мимо нас проходят два немецких солдата – один из них бросает взгляд на мою корзину, – но особого внимания на нас они не обращают. Как же волнующе оказалось прятаться у всех на виду!

– Тебе стоит встретиться с моим другом Люком, – вдруг произносит Арно совершенно обыденным тоном, каким обсуждают погоду.

– Кто такой Люк?

– Кто-то, кто думает так же, как мы с тобой.

– А зачем мне с ним встречаться?

Мы доходим до входа в метро. Арно отводит меня в сторону от потока пассажиров.

– Больше ничего я пока сказать не могу. Просто поговори с ним, хорошо?

– Ладно. – Мое сердце бешено стучит, пока я торопливо вспоминаю список дел на неделю. В понедельник мы идем к Ларошам. – Я смогу встретиться с ним во вторник после школы.

– Вторник. – Арно кивает. – На бульваре Сен-Мишель есть старый обувной магазин рядом с южным концом Люксембургского сада. У него фиолетовый навес – точно не пропустишь. Будь на скамейке снаружи к половине пятого, он придет и заберет тебя. Он спросит тебя, нормально ли ты добралась. Скажешь ему: «Поезда ходят как надо». После этого вы зайдете внутрь.

– *Поезда ходят как надо?* Арно, что это значит?

– Просто скажи это. Доверься мне. Мне нужно идти. Рад знакомству, Адалин.

– Арно, подожди...

Он исчезает на ступенях метро, поцеловав меня в щеку и оставляя дрожь на тротуаре. Все происходит так быстро, что к тому моменту, когда прихожу домой и говорю маме, что у мясника кончилось мясо, какая-то часть меня всерьез считает, что я все это выдумала.

Во вторник в школе я весь день не могу сосредоточиться, снова и снова прокручивая в голове эти четыре слова, чтобы быть готовой к тому, что случится днем: «*Поезда ходят как надо. Поезда ходят как надо. Поезда ходят как надо*». Скорее всего, это пароль, но для чего? Встретив Хлою на нашем обычном месте после того, как прозвенел звонок с послед-

него урока, я говорю ей, что Мари и Моник Ларош почти заставили меня пойти с ними к ювелиру за новыми украшениями. Как я и предполагаю, сочиняя эту ложь, Хлоя выглядит довольной, что ее миновала эта участь, и говорит, что увидится со мной дома.

Доверять в эти дни метро не стоит. Немцы закрывают станции без предупреждения, и зачастую невозможно с уверенностью сказать, сможешь ли ты добраться туда, куда собираешься. Я не знаю, кем является этот загадочный Люк, но от мысли, что я могу пропустить встречу с ним, внутри все переворачивается. Поэтому, не полагаясь на метро, я иду пешком целый час на промозглом ветру. Когда наконец показывается фиолетовый навес, глаза у меня слезятся, а нос цветом напоминает спелый помидор.

Я сажусь на скамейку рядом с магазином, гадая, с какой стороны появится Люк. Я даже не знаю, как он выглядит или сколько ему лет. Только сейчас до меня доходит, что все это может оказаться нацистской ловушкой, подстроенной для тех, кто срывает плакаты, но почему-то я не могу заставить себя встать и уйти. Я едва знаю Арно и все равно убеждена, что ему можно верить. Плотнее закутавшись в жакет, я сжимаюсь в комок, чтобы хоть немного согреться. Перестав двигаться, я начинаю дрожать от холода.

Или я просто нервничаю?

Я бросаю взгляд на часы. Двадцать минут шестого. Уже скоро...

Где-то вверху звенит колокольчик, и дверь магазина открывается. *Это он. Спокойно.* Из магазина, поправляя пла-ток, выходит женщина средних лет в длинном меховом паль-то. Секунду она смотрит на меня, потом ее глаза продолжают скользить по улице. Не говоря ни слова, она идет дальше, с локтя у нее свисает корзинка.

Ложная тревога.

Сердце бьется в груди словно молот. Через две мину-ты наступит половина шестого. Продолжать вертеть головой по сторонам слишком утомительно, поэтому я фокусирую взгляд на секундной стрелке часов, отсчитывающей послед-нюю минуту. Так тихо, что я могу слышать, как она движет-ся. *Тик. Тик. Тик.*

Колокольчик звенит снова. Наверное, еще один рассеян-ный покупатель.

– Ты нормально добралась?

У меня перехватывает дыхание. Посмотрев вверх, я ви-жу темно-карие глаза парня примерно моего возраста. Одет он в школьную форму, но в нем ощущается какая-то неoji-данная суровость. Его взлохмаченные черные волосы пада-ют на глаза и завитками ложатся за ушами. Каждая черточка его лица кажется четкой, геометрически правильной. Мгно-вение спустя я соображаю, что нужно ответить.

– Поезда ходят как надо.

Парень одобрительно улыбается, и мне кажется, что я слегка сползаю со скамейки. Открыв дверь магазина, он же-

стом приглашает меня войти, и я осторожно поднимаюсь на ноги, благодаря бога, что пока делаю все правильно.

Магазин оказывается маленьким и темным, в нем сильно пахнет кожей и обувным кремом. Человек, стоящий у кассы, даже не обращает на меня внимания. Если Арно хотел выбрать наиболее безопасное место для тайной встречи, ему это удалось. Парень молча ведет меня извилистой дорожкой между полками, пока наконец мы не оказываемся в тесном углу в дальнем конце магазина. Из кармана пиджака он вынимает ключ и открывает дверь перед нами.

Я следую за ним в скудно обставленную комнату размером с мою спальню. Здесь стоит штук пять разных стульев, стол и груда коробок у стены слева. С потолка свисает единственная лампочка. В центре дальней стены виднеется еще одна дверь.

Парень закрывает на ключ дверь позади меня.

– Можешь сесть.

Следуя его примеру, я вытаскиваю на середину комнаты один из стульев, и мы садимся в метре друг от друга.

Он смотрит мне прямо в глаза.

– Я Люк.

– Адалин.

– Слышал, ты встретила моего друга Арно.

– Да, в субботу. Он сказал, что мне нужно увидеться с тобой.

– Он сказал, зачем?

– Нет. Только то, что ты думаешь так же, как и я.

Люк устраивается поудобнее, опершись локтем о спинку стула и скрестив ноги, и спрашивает:

– Как ты думаешь, что это значит?

– Я точно не знаю, что он имел в виду. – Я все еще сижу прямая, как доска, на своем стуле, и мне приходится напомнить себе, что можно выдохнуть. И снова вдохнуть. – Единственное, в чем я уверена, это то ощущение, когда я просыпаюсь утром и вижу на часах немецкое время¹⁰... вижу женщин, стоящих в очередях за продуктами, которых нет... и солдат, скупающих все в магазинах.

– И что это за ощущение, Адалин?

Люк так хорош собой, что мне с трудом удастся смотреть ему в глаза, но я не должна показывать, что нервничаю. Если он решит, что я не подхожу – если он прогонит меня из того мира, что я только что обнаружила, – то не знаю, смогу ли продолжать. Словно просыпаешься после самого чудесного сна и понимаешь, что не можешь вернуться обратно.

– Как будто внутри меня бушует пламя, и, если я не буду бороться, оно поглотит меня. Поэтому я срываю их плакаты. Я должна что-то делать. Да и как иначе?

Я тяжело дышу и внезапно понимаю, что сижу на самом краешке стула. О чем, интересно, думает Люк? Не отвечая, он изучает меня, склонив набок голову, словно рассматривая

¹⁰ Летом 1940 года нацистское правительство вынудило оккупированные территории Франции перейти на немецкий часовой пояс GMT+2. – (Прим. ред.)

картину.

– Мне кажется, я тебя знаю, – наконец произносит он. – Живешь неподалеку?

– Нет. Моя семья живет в девятом округе. Рядом с оперным театром.

Он поднимает бровь.

– Неплохое соседство. Хотя дороговато.

Я не знаю, что ответить на это, поэтому опускаю глаза, тебя браслет. О нет, теперь я обращаю его внимание на серебряный браслет от «Картье», который мама подарила мне на прошлый день рождения. Когда я снова смотрю на Люка, по его лицу видно, что он все понимает.

– Тебя ведь снимают для всяких модных журналов. Они всегда помещают твои фотографии в разделе светской хроники, – вспоминает он. – Моя бабуля постоянно их читает, и журналы валяются по всему дому. Ей нравится рассматривать, что женщины сейчас носят. Там я тебя, наверное, и видел?

Я готовлюсь увидеть в его глазах толику осуждения, но этого не происходит.

– По всем этим вечеринкам меня таскает за собой мама, – признаюсь я.

Люк снова поднимает бровь.

– А она в курсе, что в свободное время ты срываешь нацистские плакаты?

– Нет, – быстро отвечаю я. – Никто не знает об этом, кроме

тебя и Арно.

Наклонившись вперед, он ставит локти на колени, одним быстрым движением сокращая расстояние между нами.

– Я могу доверять тебе, Адалин?

Я заставляю себя посмотреть ему прямо в глаза.

– Да.

Несколько мучительных секунд он просто смотрит на меня. А затем встает.

О нет. Неужели все кончено? Меня отпускают, и я даже не узнаю, зачем я здесь? Перед глазами пронеслась вся наша встреча, но вроде все шло хорошо...

Затем, когда я уже готова к тому, что Люк снова вытащит ключ и проводит меня к выходу, он поворачивается к коробкам, открывает одну из них, вытаскивает большой конверт и возвращается на место.

– Арно прав. Я действительно думаю так же, как и ты, – негромко произносит Люк. Тени, отбрасываемые лампочкой, делают контуры его лица еще резче, и в какой-то момент у меня появляется странное желание погладить его ладонью по щеке. Люк продолжает: – Я ищу тех, кому можно доверять, таких, как ты, тех, кто хочет бороться. Чем больше людей увидит наше послание, тем лучше.

– А наше послание – это...

– Что ни единая душа во Франции не желает сотрудничать с врагом. Что многие из нас по-прежнему сражаются и не собираются останавливаться.

– Скажи, что я должна делать.

Люк показывает мне конверт, который вытащил из коробки.

– Это листовки с крестом де Голля. Тебе нужно распространять их везде, где сможешь, там, где люди их найдут. В метро. В почтовых ящиках. В школьном туалете. И тебя не должны видеть. Справишься?

– Да.

Мне нужно найти способ сделать все это, не вызывая подозрений у семьи.

Вместо того, чтобы дать мне конверт, Люк придвигает свой стул еще ближе, так что наши колени почти соприкасаются. Когда он снова смотрит мне в глаза, в нем ощущается такая сила, какой я никогда прежде не встречала. Его взгляд будто касается каждого уголка моей души.

– Это опасно, Адалин. Нацисты арестовали подростков, которые шли маршем в День перемирия. Увезли их в тюрьму, били, заставляли всю ночь стоять под дождем. Некоторых построили в ряд, чтобы те думали, что их сейчас расстреляют. С нами они сделают то же самое. Или еще хуже. Если ты сомневаешься – хоть немного, – можешь идти. Я не буду тебя винить.

– Я не уйду.

– Тебе нужно быть очень осторожной. Если тебя поймают, рано или поздно выбьют из тебя информацию. И ты никому не должна говорить об этом – ты понимаешь? Никому. Даже

своей семье. Даже тем людям, которых считаешь единомышленниками. В Париже полно нацистских информаторов.

С трудом сглотив, я твердо отвечаю:

– Я буду хранить тайну.

Люк еще раз смотрит на меня. Пусть. Я хочу, чтобы он знал, как отчаянно я желаю помочь. Наконец он вручает мне конверт, я прячу его в сумку и встаю.

Впервые с момента моего появления Люк улыбается, и я чувствую, как расслабляются плечи. Я и не замечала, что все это время они были напряжены. Я прошла испытание. Я в деле. Теперь я часть чего-то большего, чем я сама, большего, чем наполненные злостью записи в дневнике и порванные плакаты. Люка, кажется, напряжение тоже отпускает. Он стремительно встает, подходит к двери в дальней стене – не той, через которую мы вошли, – и трижды стучит в нее. Дверь распахивается с другой стороны, и там стоит улыбающийся Арно с порозовевшими от холодного вечернего воздуха щеками.

– Ты одна из нас! – кричит он, и мое сердце трепещет.

– Так ты все это время стоял здесь?

– Я ждал сигнала Люка, – отвечает Арно. – Три удара, если он тебя одобрил, два, если отправляет обратно.

Сияя от радости, я поворачиваюсь к Люку. Полагаю, мне в этот момент следует бояться, но я чувствую себя опьяненной возбуждением.

– Спасибо, что не отправил меня обратно.

– Пожалуйста, Адалин, – отвечает Люк. Когда он так произносит мое имя – с таким доверием, – в груди у меня вспыхивает волнение, не имеющее ничего общего с заданием, которое мне только что поручили. Рядом с Люком я теряюсь, начинаю нервничать, но в то же время мне хочется находиться с ним в этой странной комнате и часами говорить о чем угодно. Эта мысль наводит меня на вопрос:

– Люк, а мы сейчас где?

– В магазине моих родителей, – поясняет он. – Они всегда позволяют мне пользоваться им, когда сами на работе.

– Они знают, чем ты здесь занимаешься?

Он качает головой:

– Нет конечно, они думают, что я просто прихожу сюда с друзьями.

– Они и не подозревают, что ты застрял здесь с двумя людьми, которых не выносишь, – вмешивается Арно, обнимая Люка рукой за плечи. Тот смеется, взлохмачивает ему волосы, потом кашляет и сует руки в карманы, возвращая себе деловой вид.

– Вы двое, идите, – отпускает нас Люк. – И помни, Адалин: никому ни слова!

Арно придерживает для меня дверь, и, выходя, я чувствую себя так, будто заново родилась. Напоследок, перед тем как исчезнуть в ночи, я еще раз смотрю на Люка.

– И что мне делать, когда я закончу?

– Вернешься сюда и дашь мне знать об этом.

Его голос – словно глоток чая, согревающего изнутри.

– Спасибо, – шепчу я.

– Удачи.

Пока Арно ведет меня обратно к правому берегу реки, небо в уходящем свете дня становится пурпурно-розовым. Раньше в такое время Париж превратился бы в настоящий Город огней, но сейчас жители торопятся домой, чтобы плотнее задернуть шторы на окнах. Вокруг царит тишина. Люди едут мимо нас на велосипедах, потому что машин для горожан больше не осталось. Измученные домохозяйки плетутся домой с отсутствующим выражением лиц, безрезультатно простояв весь день в очереди. Сейчас, когда во мне утих стремительный водоворот ощущений и я спустилась с небес на землю, в мой разум закрадываются реальные и довольно пугающие вопросы. То, о чем я хотела спросить Люка, но не стала из-за боязни показаться трусихой. Он сказал, что если нацисты схватят меня, то «любыми средствами» выбьют информацию. Они будут пытаться меня? Или хуже того – от одной этой мысли мне становится плохо – они навредят моей семье? Когда панику, поднимающуюся за медными застежками моего пальто, становится невозможно сдерживать, я перебиваю Арно, который рассказывает о двух своих младших братьях.

– Арно, как ты думаешь, меня в итоге арестуют?

Он хмыкает.

– Я думаю, что нас *всех* в итоге арестуют.

Услышав это, я останавливаюсь, осознав, на что согласилась. Что же я наделала, забрав с собой эти запрещенные листовки?

— Ну, не надо так мрачно все воспринимать, — говорит он, похлопывая меня по плечу. — В конечном итоге оно того стоит.

Я по-прежнему не двигаюсь с места, и Арно добавляет:

— Пойдем, я куплю тебе мороженого.

Я начинаю было идти, но тут понимаю его ошибку.

— Ты нигде в Париже сейчас не достанешь мороженого, — замечаю я.

— Эх, тут ты права, — соглашается Арно. — Ну ладно. Мороженое будет после, когда война закончится.

Я и правда начинаю разбрасывать листовки.

Я ношу их с собой повсюду, пряча в корзине для покупок или среди страниц учебников, ожидая шанса подложить куда-нибудь, пока никто не видит. Уже на следующий день, на переполненной платформе метро, я оставляю целую пачку, сидя на скамейке! На листовках нет ничего, кроме нарисованного чернилами креста де Голля в середине, но они многое значат для меня.

К сожалению, работа продвигается медленно, потому что мне каждый раз приходится выкраивать время, чтобы остаться одной. В школу и из школы я всегда иду с Хлоей, а по вечерам сижу дома. Будь в городе Симона или Шарлотт, я могла бы притвориться, что иду гулять с ними. Вместо этого

мне приходится впихивать всю работу в те пару часов, когда хожу за продуктами.

Вчера я с триумфом вернулась с рынка, сунув последние листовки в корзины нескольких домохозяек, когда те отвернулись. Я готова увидеться с Люком и попросить еще партию, но это значит тайком пробираться в Латинский квартал, не сообщая маме с папой, куда я пропала. Даже если ехать на велосипеде или поезде, мне все равно придется исчезнуть вечером как минимум на час.

Сидя на уроке истории и почти не обращая внимания на происходящее, я подумываю о том, что сделать все нужно уже сегодня. Тянуть больше нельзя. Если я всякий раз буду ждать удобного окошка в расписании, Люк решит, что я потеряла интерес к нашему делу. Поэтому, когда уроки заканчиваются, я встречаю Хлою на ступенях перед школой и говорю, что сегодня не смогу пойти с ней домой.

– На днях будет огромный тест по истории, и мы хотим подготовиться, – как бы невзначай сообщаю я. На самом деле я чувствую себя ужасно из-за того, что приходится ей лгать.

Хлоя упирает руку в бедро.

– А папа помочь не сможет?

Импровизируя на ходу, я быстро отвечаю:

– Он плохо знаком с этим материалом, это не про Революцию или Наполеона. Что-то про Средние века.

– По-моему, тебе вообще ничего учить не надо, – замечает Хлоя. – На фоне твоих идеальных оценок мы, все остальные,

выглядим просто чудовищно.

Мы смеемся, и я понимаю, что все в порядке.

– Увидимся позже, хорошо? Я надолго не задержусь.

– Хорошо, мне будет не хватать тебя на пути домой. – Она хмурится при виде немцев с большим коричневым бульдогом, патрулирующих окрестности неподалеку. – Ты помогаешь мне отвлечься от мыслей о *бошах*.

– Если *Papa* еще не будет спать, давай сыграем что-нибудь, когда я вернусь. Я буду играть, а ты петь.

– Хорошо бы. Хотя берегись, – добавляет Хлоя с ноткой сарказма, – учительница пения сказала, что я сегодня немного визгливая.

– Визгливая? Ты? Она ошибается, я тебя уверяю.

– Спасибо. Я так ей и сказала. – Хлоя улыбается и закидывает на плечо рюкзак. – И ей следовало согласиться со мной, а не выставлять в коридор. В любом случае увидимся дома, Адалин.

– Увидимся, Хлоя.

Я смотрю, как белокурая головка Хлои исчезает за углом, потом поворачиваюсь на каблуках и спешу к ближайшей станции метро. Будет все труднее придумывать отговорки всякий раз, когда мне понадобится навестить Люка – не только потому, что необходимо проявлять изобретательность, но и потому, что придется лгать собственной сестре. «Для ее же блага», – напоминаю я себе.

Убедившись, что меня никто не видит, я бегу по переул-

ку к фиолетовому навесу справа. Арно сказал, что на этот раз я могу зайти с другой стороны. Он также научил меня условному стуку: один сильный удар, за ним пять легких и быстрых. *Тук. Тук-тук-тук-тук-тук.* Проходит минута, и я уже начинаю думать, что Люк куда-то ушел и я зря потратила отличный предлог, чтобы улизнуть от сестры, но тут он открывает дверь. Темно-карие глаза Люка блестят, словно он ждал меня.

За ним в комнате слышатся голоса мальчишек.

– Адалин, – произносит он. Благодаря его насыщенному баритону мое имя звучит как музыка.

Я перехожу сразу к делу – не могу больше сдерживаться:

– Я закончила, Люк, и пришла за следующей партией.

– Отлично, – кивает он. – Проходи, мы на прошлой неделе как раз получили еще.

Люк отступает в сторону, и я вхожу. Внутри куда многолюднее, чем в прошлый раз, благодаря присутствию двух мальчишек, которых я раньше не видела. Один из них высокий, долговязый, похожий на одуванчик. Другой меньше ростом, с по-детски пухлым лицом. Они сидят за столом вместе с Арно, но при виде меня сразу встают. Арно радостно спрыгивает со стула.

– Адалин! Я боялся, что перепугал тебя в последний раз.

– Я очень стараюсь не попадаться, – шучу я.

Подойдя к высокому кудрявому парню, Люк представляет его.

– Это Пьер-Анри. – Юноша шутиливо изображает военное приветствие, и мы оба хихикаем – опьяняющее возбуждение вернулось. Затем Люк поворачивается к парню поменьше, который улыбается и машет мне рукой. – Это Марсель, мы вчетвером вместе ходим в школу. Мы начали собираться еще в сентябре, говорить о войне, обсуждать передачи, которые слышали по радио, и листовки, строить планы сопротивления, пока не пришли... к этой идее.

– В основном мы стараемся просто не спать, – добавляет Арно.

Люк улыбается.

– Именно. У отца Марселя есть ротатор¹¹, который он сумел вытащить из своей типографии перед тем, как немцы ее закрыли, и, как видишь, теперь мы можем печатать листовки.

Я киваю, пытаюсь уложить все в голове. От обилия новой информации она просто кипит.

– Парни, это Адалин, – продолжает Люк. Сейчас он подходит к капитану, обращающегося к своим лейтенантам. – Арно нашел ее, когда она срывала плакаты с фюрером.

– По правде говоря, *она* нашла *меня*, – поправляет друга Арно, подняв указательный палец. Мы обмениваемся понимающими улыбками.

– Адалин помогает распространять по городу листовки, и

¹¹ Машина трафаретной печати, предназначенная для оперативного размножения книг малыми и средними тиражами. – (Прим. ред.)

ей прекрасно удастся избегать слежки, — продолжает Люк. — Она наш ценный кадр.

Он назвал меня *ценной*. Я опускаю взгляд на свои руки. Похоже, я и впрямь ценна в том смысле, что немцы никогда и ни в чем меня не подозревают.

— Добро пожаловать в команду! — щебечет Марсель.

— Спасибо, — отвечаю я. — Очень приятно познакомиться.

— Мы счастливы, что ты с нами, — добавляет Пьер-Анри. — Листовки, конечно, это проще некуда, но, можешь быть уверена, они *делают* свое дело.

— Я понимаю, о чем ты.

Мое сердце колотится от радости. Пьер-Анри и Марсель почти не знают меня, но сразу отнеслись ко мне очень приветливо. Понятно, что Люк, самый серьезный из всех, их неофициальный лидер. Должно быть, они доверяют его выбору.

— Мы встречаемся здесь каждый понедельник, — добавляет Люк. — Присоединяйся всегда, когда можешь.

— Конечно, я приду, — немедленно отвечаю я, пока еще не понимая, как это устроить. Приходить сюда каждый понедельник и к тому же распространять листовки? Это значит проводить много времени вне дома, что будет выглядеть особенно подозрительно сейчас, когда оккупация приучила каждого в страхе оглядываться по сторонам. Без острой необходимости люди давно уже не покидают своих домов.

Люк пододвигает мне стул, я сажусь вместе со всеми и

только сейчас обращаю внимание на раскиданные по столу романы.

– Это уловка, – отвечает Люк, хотя я даже не успеваю спросить. Должно быть, он все понимает по моему лицу. – Если кто-то обнаружит нас и станет задавать вопросы, мы скажем, что организовали книжный клуб.

– Моя идея, – гордо заявляет Марсель.

Совершенно непринужденно, как старые друзья, мы принимаемся болтать друг с другом, и я жадно впитываю все, что слышу. Я так долго изнывала, держа язык за зубами рядом с Хлоей, чтобы не воодушевлять ее лишним раз; рядом с *Papa*, чтобы не волновать его; и даже рядом с *Maman*, которая верит в Петена и хочет думать только о хорошем.

В числе прочего парни обсуждают возможность доставки листовок через демаркационную линию между Оккупированной и Свободной зонами.

– Там они нужнее, чем здесь, – заявляет Пьер-Анри.

– Это почему? – спрашивает Марсель.

– Потому что у них по улицам не разгуливают *боши*. А здесь немцы половину работы по пропаганде делают за нас.

Случайно бросив взгляд на часы на руке Арно, я вдруг вспоминаю, что отсутствую уже почти два часа.

– Мне нужно собираться домой, – шепчу я Люку так, чтобы не мешать другим. – Не хочу, чтобы родители начали задавать вопросы.

Он кивает, поднимается, подходит к коробкам и возвра-

щается с очередным конвертом. Моя следующая партия.

– Спасибо тебе.

– *Тебе* спасибо.

Я не в силах отвести от него глаз, но аккуратно укладываю листовки в сумку, прощаюсь с остальными и выхожу через заднюю дверь в темный, холодный и горький осенний вечер.

Наш пожилой консьерж всегда напоминал мне кота, потому что дремлет большую часть дня. Когда я вхожу, глухой стук двери будит его. Он моргает, оглядывается по сторонам и наконец определяет источник шума.

– А, мисс Бономм, – произносит он сонно. – Для вас письмо.

– Спасибо, Жиль.

Когда он отдает мне конверт, я сразу узнаю почерк с сильным наклоном – руку моей учительницы Матильды, которая с мая живет в Свободной зоне вместе со своей теткой. Честно говоря, я не слишком скучаю по нашим занятиям дважды в неделю. Преподавательницей она была суровой и била меня линейкой по запястьям, если я недостаточно их поднимала, что лишало меня всякой радости от игры. Именно поэтому я предпочитала практиковаться сама. Поднимаясь по лестнице, я открываю конверт и читаю:

Дорогая Адалин!

Надеюсь, что с тобой и твоей семьей все хорошо, когда ты читаешь это письмо. Я пишу, чтобы сообщить тебе

о своем решении остаться с тетей здесь, в Авиньоне, на неопределенный срок. Она нездорова, нуждается в уходе и в любом случае пропуск для перемещения по стране достать очень трудно. Я сожалею, что наши уроки вынужденно подошли к концу, но надеюсь, что ты найдешь время и будешь заниматься самостоятельно.

Искренне твоя,

Матильда

Дома пахнет поджаривающимся мясом, и, когда я вхожу с письмом в руке, *Матап* накрывает стол к ужину. Я останавливаюсь под арочным входом в гостиную и здороваюсь как ни в чем не бывало. Как будто не я только что пришла с тайного собрания в Латинском квартале.

– Как позанимались, дорогая?

– С пользой, спасибо.

Она так нежно смотрит на меня, что я чувствую вину из-за того, что приходится ей врать.

– Ты получила от кого-то письмо? – спрашивает *Матап*, замечая конверт у меня в руках.

– От Матильды.

– Ох! Она сообщает, когда вернется?

– Похоже, она пока не собирается возвращаться в Париж. Пишет, что ей нужно остаться на юге, ухаживать за своей больной теткой.

Матап прекращает расставлять приборы и упирает руки в бедра.

– Я боялась, что это случится, – со вздохом признается она. – Что же нам делать с твоими уроками? Нужно найти кого-то другого...

И вдруг у меня рождается план. Простая идея, которая сделает возможной мою новую жизнь. Прежде чем высказать ее вслух, я предусмотрительно убираю письмо в карман, чтобы *Матап* не вздумала его читать.

– Знаешь, Матильда рекомендует мне нового учителя. Мы можем заниматься как раньше, по понедельникам и средам. Матильда с ней уже договорила.

Мама выглядит удивленной.

– Очень любезно с ее стороны.

– О да. Она говорит, очень важно, чтобы я продолжала заниматься.

Матап продолжает ходить вокруг стола, и я паникую, что сейчас все и раскроется. Она попросит взглянуть на письмо и увидит, что Матильда ни с кем не договаривалась. Но вместо этого она гладит меня по щеке прохладной ладонью.

– Я согласна с Матильдой, – улыбается она. – У тебя настоящий талант, дорогая.

– Спасибо, *Матап*. Я жду не дождусь, когда смогу наконец посещать занятия.

– Хорошо, – кивает она, приглаживая мне волосы. – А теперь иди мой руки и садись ужинать. За этого цыпленка я отдала целое состояние.

Позже тем же вечером, когда все отправляются спать, я

пробираюсь на кухню, спрятав в ночной рубашке письмо Матильды. Как можно тише я открываю дверцу плиты и ворошу потухшие угли до тех пор, пока они снова не начинают мерцать красным, а потом подкидываю сверху немного свежего угля.

Стоя на коленях на полу и надеясь, что никто не войдет, я добиваюсь небольшого яркого пламени. Рядом с ним кладу письмо – единственное доказательство того, что моя учительница на самом деле не договаривалась ни о каких уроках.

Вскоре пламя уже полыхает. В нетерпении, с бьющимся сердцем, я жду, пока огонь утихнет. Когда это происходит, я нагибаюсь и смотрю через решетку.

От письма Матильды остается лишь горстка пепла.

Глава 5

Элис

Операция «Узнать больше о тайном детстве бабули» идет полным ходом, и сейчас мне нужно найти местечко, где я смогу устроиться с ноутбуком и продолжить изучать дневник Адалин. Может, проверить Латинский квартал на другой стороне реки? Камилла с семьей останавливалась здесь на весенних каникулах, и я помню, как она говорила, что там много очаровательных кафе. Она еще рассказывала, что здесь полно не менее очаровательных парней, после чего ее молодой человек, Питер, брызгал на нее водой из бутылки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.